

K1062301

вс

Ю.Томашевский



ПОХВАЛА ТЕНДЕНЦИОЗНОСТИ

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАРЕНЕК
ВОЛОДЯ ТЕНДРЯКОВ СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ
ВЛАДИМИРОМ ТЕНДРЯКОВЫМ



етит время, притормаживая на поворотах. Мелькают дни и недели, проносятся месяцы, словно костяшки на счетах отщелкивают свое недолгое пребывание на земле годы.

Ветер времени выдувает из памяти людей подробности прожитой жизни.

Пишущаяся на наших глазах история заносит на свои страницы лишь то, что впрямую влияет на ее основной ход, что идет в фарватере ее течения. Она оставляет будущим людям лишь те из событий и фактов, что, на ее взгляд, более, чем иные, причастны к созданию обобщенного портрета времени. Она разводит действующие на этом отрезке времени противоборствующие силы по две стороны прогресса и, столкнув эти силы лбами, высекает огонь, который как бы обязан пролить *правильный* для потомков свет на положение дел в далекой от них эпохе.

История — не летописец, она принимается за работу, когда что-либо уже произошло, заимело конец, т. е. пишет постфактум. Отсюда: она оперирует *результатами*, полученными от решения стоявших перед временем задач. Пути же решения этих задач, варианты и способы, при помощи которых время пробивалось к искомому результату, словом — *подробности*, историю не интересуют. Это удел не ее.

Это удел литературы. Это в ее обязанностях — задер-

жать ускользающие от людей подробности уходящих лет.

Между историей и литературой, работающей на фактах реальной жизни, всегда существует определенная зыбкость границ. Но особо заметна размытость их, их неустойчивость на крутых поворотах времени. На таких поворотах литература старается разглядеть человека и факты, которыми он окружен, через створ именно этих поворотных событий представляет читателю своих героев если не историческими лицами, то во всяком случае людьми, работающими на историю. Эти люди, вызванные литературой в свидетели своего времени, их действия, поступки, мысли, слова, сама их статья никогда не попали бы на бумагу, не случись в реальной действительности того самого поворотного исторического момента. Это он обусловил рождение их и их жизнь.

А может, не только этих людей, — может, и писателей, получивших известность благодаря как раз этим «работникам на историю», не было бы?

Над этим стоит подумать.

И еще — вот над чем. Говорят, что злободневность, тенденцию (без которых конечно же не было, нет и не будет ни одного здравомыслящего писателя) надо поглубже и понадежней прятать в складках литературного материала. Тот, кто обладает этим искусством, считается писателем хорошим, искусным, а тот, кто этим делом не очень-то занимается, — рангом пониже, а то и вовсе плохим. Об этом пишут и говорят сплошь и рядом, но я позволю себе усомниться в справедливости подобных писаний и разговоров... А как в таком случае быть с И. А. Гончаровым? С Л. Н. Толстым? Наконец, с Ф. М. Достоевским?

Можно ли представить себе более тенденциозных писателей?

Я назвал эту главу «Похвала тенденциозности». Прожив в литературе более тридцати лет, Владимир Тендряков ни разу не унизил себя игрой в литературные пряталки. Писал подчеркнуто злободневные книги, подчеркнуто тенденциозные — открытые настежь. Как и у всякого другого писателя, написанное им в разное время и по разным поводам, — естественно, разной цены. Но всегда это одна и та же не ведающая компромиссов рука, не желающая отлеживаться до завтра, нужная сегодняшнему дню горячая мысль, не терпящее снисхождения к всяческой

лжи, к всяческой фальши взыскующе суровое сердце. И всегдашняя жадная страсть: понять душу времени на дворе, проникнуть в нее, впитаться и дописать, прописать историю стремглав пробегающих дней нашей жизни.

Тендряков не был бы Тендряковым, если бы хоть раз опоздал, не поспел за временем. Это писатель наступившего дня, назревающего явления жизни. Мы еще разбираемся в приметах рожденного нового, еще сомневаемся, спорим, а Тендряков уже написал — и не очерк по горячим следам наших споров, не скоропалительную беллетристику, а *полновесную* прозу, повесть или роман, где наши наблюдения, предчувствия, мысли уже обрели стройную форму и превратились в знак времени.

Но Тендряков не был бы Тендряковым, если бы написанное им сегодня назавтра же отмирало, отживало свой век вместе с отжившим и навсегда оставленным позади временем. Это писатель, который на материале быстролетящих, изменчивых дней нашей жизни пишет о врожденном, неистребимом, вечном в человеческом общежитии: о любви и о ненависти, о добре и зле, о том, что есть честь, совесть, долг человека перед людьми и что есть низость, бессовестность, глухота к бедам и радостям ближних. Иначе говоря, к исследованию возникающего или уже возникшего социального явления, противоречия, конфликта Тендряков подступает с мерилом *значительной* человеческой морали и нравственности. Он «собирает» для своих повестей и романов наиболее характерных на сегодняшний день людей-персонажей, сталкивает их воззрения, их понимание себя в окружающем мире и в самой близкой точке этого столкновения, измерив каждому нравственную температуру, ставит разыгранному героями действию четкий социальный диагноз.

Резкость и прямота, с которыми Тендряков подступает к решению литературным путем вопросов жизни, сформировали его творческий почерк, определили стиль. Его произведениям всегда свойственны актуальность и тщательность в разработке социально-нравственной проблематики; прочность сюжета, остов которого — всегда *чрезвычайное*, нередко трагическое событие; обязательность взрывной кульминации, возникающей в связи с непредвиденным осложнением, поворотным случаем в судьбе персонажей, после чего накал драматизма не остывает, а усугубляется.

Суровы и беспокойны — заряжены на грозу — уже сами названия книг Тендрякова: «Не ко двору», «Ненастье», «Ухабы», «Тугой узел», «Суд», «Короткое замыкание», «Кончина»... Он и сам такой, Тендряков, суровый и беспокойный. Да, пишет он о сегодняшнем дне, держит в памяти день вчерашний, столетнюю, тысячулетнюю давность жизни людей, но смотрит-то он вперед! И вот этот взгляд Тендрякова вперед, в завтрашний день, не умильно-восторженный и просветленный, а трезвый и без поправок на то, что, может, сегодняшние наши противоречия и недоработки сами собой рассосутся и утратятся и в будущее не попадут. Нет, если о них открыто не говорить, не писать, то попадут — куда им деваться! Тендряков это твердо знает, и потому всю свою страсть гражданина, весь свой талант художника и публициста он отдает на борьбу с тем, что задерживает, отдалает пришествие нового дня.

Тендряков — реалист от первой до последней своей строки. Но вот ведь чудо! Его любимый герой всегда всей душой рвется за пределы той жизни, в которой живет; всегда он романтик, мечтатель. О чем же его мечты? О многом и разном, но в конечном итоге сводятся эти мечты к одной, самой заветной: чтобы люди понимали друг друга. Ведь все в мире людей начинается с понимания: дружба, любовь, общее дело. Многим и многим героям отдав эту мечту, он словно подчеркивает ее всегдашний характер: эта мечта не сегодня вдруг взяла и пришла к людям, она всегда была с ними, но сегодня нужда в ней острая.

О Тендрякове написано очень много. Писать о том, о чем не раз и не два уже было сказано, дело не только неблагодарное, но и неинтересное. В 1953 году Тендряков опубликовал в «Новом мире» повесть «Падение Ивана Чупрова» и сразу же, получив массу восторженных откликов в литературной (да и не только) периодической печати, оказался в ведущем ряду наших писателей. А как жил до того? С чего начинал? И вообще откуда он взялся на нашу голову со своей прямоотой, резкостью, правом говорить на глаза то, что думает?

Вот это интересно!..

Написанное ниже — результат долгих вечеров, проведенных в подмосковном писательском поселке Красная Пахра, в доме, где зимой и летом сидел, как говорится, за рабочим столом Владимир Федорович Тендряков.

Говорят, что случайностей не бывает. Что каждый случай — это нарок, умысел. Может, оно и так, но в случае с Тендряковым провидение вряд ли было замешано. Писателем он стал именно случайно. Как бы нечаянно.

Посудите сами.

О писательстве не думал и не мечтал. Какие уж тут мечты, когда за сочинение на выпускных школьных экзаменах ему еле-еле троечку натянули?

Натянул ему эту троечку Аркадий Александрович Филев, самый крупный в их селе Подосиновец знаток русского языка и литературы. Но мало того — знаток, по селу бродили упорные слухи, что, покончив с тетрадами, учитель сам что-то такое по ночам создает. И по слухам — здорово у него получается.

Нет, чтобы одно село (пусть даже большое, с райкомом и райисполкомом в центре) подарило читающему человечеству сразу двух мастеров художественного слова — не может такого быть. Теория вероятности не допустит.

Так что писателем быть — отпадает. Литература — не его жизненный путь.

А какой же — его?

Думал об этом с тех пор, как помнил себя. Жизни без цели, без большого пути не представлял... Отец, Федор Васильевич, хоть всего две зимы отходил в церковноприходскую школу, сумел-таки выделиться из массы: в гражданскую до комиссара полка дорос, после войны — до председателя райисполкома. А дядя, Дмитрий Васильевич? Тот достиг еще больших, пожалуй, высот: закончил Лесной институт, выпустил собственную книгу по лесному хозяйству; первый, можно сказать, интеллигент с их фамилией.

Вот какие они мужики, Тендряковы! А он? Не той разве крови? Да он еще выше взлетит. Только вот направление полета правильно бы угадать. Выбрать точный маршрут. Чтобы не петлять попусту, не терять темпа на виражах.

Учитель рисования и черчения наглядеться не может на его акварели. А граф::ку, говорит, прямо хоть сегодня на выставку посылай. О чем бы ни зашел разговор, всегда на одно сворачивает: талант, дарование, по твоим картинам Третьяковская галерея плачет.

А может, и в самом деле его призвание — живопись? Самолюбиво уверовав в похвалы старого рисовальщи-

ка, Тендряков собрался было уже отослать в Москву свои пейзажи и натюрморты, но... началась война.

Поздней осенью 1941 года пришла похоронка на погибшего под Клином Федора Васильевича Тендрякова. 5 декабря, в день восемнадцатилетия, его сын отправился на призывной пункт. О том, как и где воевал Тендряков и что вынес с войны, будет сказано позже, а сейчас вернемся в село Подосиновец Кировской области, куда зимой 1944 года, вчистую негодный к военной службе, он пришел после госпиталя и, на время позабыв о честолюбивых мечтах, стал преподавать военное дело в той самой школе, где схватил на выпускном экзамене памятную для нас троечку.

Тот, кто ее поставил, в школе уже не работал. Но об ученике своем помнил. Что ж, что слабак он в изящной словесности, — дело это коварное, тонкое, подвластное избранным. Тут через себя, как говорится, не перепрыгнешь. Зато другой у него есть талант: твердый характер, принципиальность, активность. Незаменимые качества для комсомольского организатора!

Бывший учитель литературы и русского языка, Аркадий Александрович Филев занимал теперь пост второго секретаря райкома партии, и вот вскоре через несколько дверей от его кабинета заимел свою дверь с табличкой «Секретарь райкома ВЛКСМ» В. Ф. Тендряков.

Дни напролет колесили по деревням, по полям, выбивая для фронта хлеб, теплую одежду, фураж, агитировали и пропагандировали, заседали и голосовали, а поздними вечерами... Не помню, кто именно, но кто-то, видимо неважно разбиравшийся в людях и их душевных потребностях, выдал однажды сентенцию, что, дескать, когда говорят пушки — музы молчат. Так вот, поздними вечерами, несмотря на то что все помыслы, все труды и силы отдавались фронту, что качало от недоедания, сваливало от усталости и недосыпа, собирались в кабинете Филева — кто бы вы думали? — члены литературного кружка.

Было их четверо: сам секретарь Подосиновского райкома, председатель райисполкома, начальник районного отделения НКВД и, как нетрудно догадаться, новоиспеченный комсомольский вожак, который хоть и не очень кумекал в премудростях литературного ремесла, зато хорошо рисовал, а Филеву непременно хотелось, чтобы приближающийся к завершению его роман «Фронт в тылу» был красочно разыллюстрирован. По ассоциации с пушкинской «Зеленой лампой» кружок имел поэтическое название

«Голубой абажур», и его заседания носили целенаправленный, строго выдержанный характер: глава за главой обсуждался роман вдохновителя и организатора этих во славу литературы ночных бдений.

Нет, ничто и никто не в силах зажать рот музам, никакие пушки — реальные и фигуральные — не заставят их замолчать! Скорее наоборот: музы как раз просыпаются от грохота пушек. Во всяком случае, в селе Подосиновец было именно так.

Тендряков с нетерпением ожидал каждого очередного собрания под «Голубым абажуром». Но не потому, что роман его захватил и он сгорал от желания знать, что же там дальше. Он сгорал от другого желания: убедить наконец бывшего своего учителя, что в романе не так уж все здорово, как представляется автору. Он видел многие пути и возможности для совершенствования текста, а Филев их не видел или не хотел видеть, заранее не принимая критику от человека, в литературные способности которого он, мягко выражаясь, не очень-то верил.

И вот тут... То ли с отчаяния, что к словам его не прислушиваются, то ли от злости, что ему приходится принимать столько мук, слушая маловысокохудожественное, на его взгляд, творение, Тендряков не выдержал и, никому из «абажуровцев» не доложив, сел писать. Запирался и писал. До одурения, до тошноты.

Повесть писал. Под названием «Экзамен на зрелость». Собирал по райкомовским кабинетам старые журналы и прямо по печатному тексту — крупными буквами. А наутро выпрашивал в редакции районной газеты — как бы для протоколов — дефицитную бумагу и переписывал.

Он еще не догадывался, что уже встал на *свой* путь. Он все еще мечтал о лаврах Шишкина и Левитана. Но *случай* уже произошел. Случилось! И, как убедился (надеюсь) читатель, всемогущее провидение к данному случаю силы свои не прилагало. Необычным, причудливым образом — это верно, но толкнул Тендрякова к столу, возбудил в нем «раковую клетку» писательства не кто иной, как Аркадий Александрович Филев, бывший его учитель, непедагогично считавший, что к литературным суждениям человека, заработавшего тройку за школьное сочинение, прислушиваться не стоит.

Счастливая ошибка! Не допусти ее Аркадий Филев, из села Подосиновец вышел бы только один писатель... Почти одновременно послали свои произведения в Мос-

кву учитель и ученик. Будучи глубоко уверенным, что его детище имеет непреходящее идейно-художественное значение, Филев направил роман не в какую-нибудь там редакцию (оценят ли, разберутся?), а прямым ходом на Старую площадь, в ЦК ВКП(б). Тендряков на подобную дерзость отваги в себе не нашел и предпочел куда более скромный адресат: «Комсомольскую правду».

Через некоторое время роман «Фронт в тылу» вернулся в Подосиновец. В сопроводительной рецензии отмечалось хорошее знание автором фактического материала и невысокое качество его литературного мастерства. Словом, роман, как говорят, был «зарезан».

Филев жестоко переживал неудачу. Однако он нашел в себе силы порадоваться за Тендрякова. Нет, из «Комсомольской правды» не было ни слуху ни духу — повесть как в воду канула. Другой был повод для радости: Тендряков получил вызов в Москву из Института кинематографии. Он отправил туда свои акварели, и вот теперь его допускали к экзаменам на художественный факультет.

Молодец!.. Филев ни на секунду не сомневался, что его ученик добьется места под солнцем. Провожая его в дальний путь, он, правда, не знал, что этим местом станет не живопись, а все-таки литература. Но и узнал когда (это произошло через восемь лет), он опять нашел в себе силы, оправившись от изумления, порадоваться за него. Не завидуя, не ревнуя, он всегда будет радоваться той большой литературной удаче, что связалась с именем Тендрякова. Он будет гордиться их старой дружбой и, когда будет вступать в Союз писателей, именно у Тендрякова попросит рекомендацию.

И Тендряков напишет ее.

2

Но это будет потом.

А тогда, победным летом 1945 года, Тендряков приехал в Москву и, позабыв обо всем на свете, сдавал конкурсные экзамены во ВГИК. «Голубой абажур», Филев с его горемыкой-романом и собственная, неведомо где блуждавшая повесть — все это было в прошлом, вчера. Все это прожито и пережито. Сегодня все мысли и все мечты — об институте. Надо поступить. Доказать, что и в «медвежьих углах» родятся таланты.

Россия в общем-то и состоит из таких вот «медвежьих

углов», как его Подосиновец. Там нет художественных училищ и студий, которые есть в столицах и больших городах. Понятно, что приемная комиссия будет отдавать предпочтение тем, кто прошел курс этих училищ и студий, кто кое-чему уже научился. Но почему они должны быть счастливей его? Только потому, что родились и жили не в деревне, а в городе? Нет уж! Он не меньше, чем эти счастливчики, любит рисовать и не меньше, чем они, мечтает называться художником. К тому же, пока они в своих студиях и училищах за мольбертом сидели, он в окопах сидел. Можно сказать, создавал им условия... К черту! Кровь из носа, а он поступит.

И поступил. По рисунку и композиции получил четверки. За живопись, правда, тройку поставили. Но ведь он до приезда в Москву не то что никогда масляными красками не писал — живьем, так сказать, их даже не видел. Только на чужих картинах видел — застывшими для обозрения. Да и то считанные разы. Так что эта тройка за живопись ему как пятерка.

О том, как Тендряков учился на художественном факультете, как верил в себя и не верил, как то талант в себе чувствовал, то ничтожеством себя ощущал, он через несколько лет подробно напишет в романах «За бегущим днем» и «Свидание с Нефертити». А сейчас «зацепимся» лишь за одну подробность — из первого романа... В последние дни и недели Андрей Бирюков с особой остротой переживает свою неуместность в институте: «Ни дома, ни в школе за партой, ни на фронте — нигде я не считал себя презираемым человеком. А здесь я хуже всех, я последний среди моих товарищей. Если судить по делам, я — ничто. Меня могут терпеть, со мной могут обходиться по-дружески, потому что я никому не сделал плохого, нет причин меня ненавидеть. Безвредный человек, но не больше.

Я стал робким, подавленным, замкнутым...»

Самоистязая себя таким образом, Бирюков дошел до того, что уже ненавидит все эти холсты, краски, натуры, но «с ожесточением» заставляет себя ни о чем другом, кроме этих холстов, красок, натур, не думать. Он не из тех, кто легко сдается. Он все еще не теряет надежды. Всякий раз, когда перед ним новая натура, он с жаром берется за дело: может, именно с этой минуты начнет у него получаться? Может быть, именно сегодня произойдет перелом?

И вот в какой уже раз «с обычным упрямством и добро-совестностью» он мучает холст. Рабски стараясь выполнить каждый совет, он ничего не приобрел, ничего не добился. Так, может быть, в этом все дело? В том, что не для него этот путь — писать по советам, по установленным когда-то и кем-то правилам?

И от отдается фантазии.

А в это время в аудиторию входит декан. На вступительных экзаменах он пожалел этого из «медвежьего угла» соискателя счастья, а теперь жалеет, что пожалел. Несколько дней назад декан видел его очередную мазню и окончательно понял, что в живописи Бирюков — нуль. И вот он смотрит на его новую работу и не верит своим глазам: «В вас черт сидит, Бирюков! Прыжок! Честное слово, прыжок!...»

Бирюков — не Тендряков. Тендряков много отдал Бирюкову из собственной биографии, однако далеко не каждая ее буква вошла в жизнь героя романа. И не все, что случилось пережить Бирюкову, пережил сам Тендряков. Так, например, он резко драматизировал, по сравнению с собственными, «взаимоотношения» Бирюкова с живописью. Но вот «в вас черт сидит!» — это было. Был день, когда Тендрякову в самом деле такое сказали. Рассматривая представленные на вступительный конкурс работы, профессор Ф. С. Богородский во всеуслышание заявил, что не очень-то верит в перспективность абитуриента из села Подосиновец, и вот спустя некоторое время, опять же во всеуслышание (до чего же точно про Тендрякова — черт в нем сидит!), взял свое «заявление» обратно.

К этому моменту в биографии Тендрякова я и стремился. Именно для этого мне и понадобилось вспомнить вышеизложенную подробность из романа «За бегущим днем». Бирюков — в романе, — одаренный неожиданной похвалой, устроил себе на радостях праздник: день отдыха от измучивших его дум о холстах и натурах. Тендряков — в жизни — настолько воодушевился тем, что сказал профессор, настолько вдруг поверил в свою звезду, что впервые со дня приезда в Москву вошел в телефонную будку и позвонил в «Комсомольскую правду»: нельзя ли узнать, как обстоит дело с его повестью «Экзамен на зрелость»?

Ответили, что никак: фамилии его не помнят, названия тоже. Попросили позвонить через недельку. Позвонил.

Снова: через недельку. Ищут. Еще позвонил — та же история. Что за чепуха? Неужто на почте затерялась? Посоветовали: обратитесь в архив.

Куда?!

Но обратился. И точно: повесть оказалась именно там... А потом — долго ли, скоро ли — передали ее наконец по назначению, и в указанный день, однако задолго до указанного часа прибыл наш автор под стены газетного комбината «Правда».

Мороз, ветер пронизывает до костей, а он в довоенных отцовских ботиночках на резиновом ходу, в ветхом костюмчике — тоже с отцовского плеча. Нет, шинель поверх родительского швиота, конечно, имеется, но толку от нее маловато: выгоревшая под солнцем, вылинявшая под дождем, истонченная ползанием под пулями, образца 1941 года шинель. И вот отбивает он «чечетку» у дверей комбината — замерз, но раньше назначенного времени войти не решается. Волынка с повестью ни на секунду не поколебала в нем преклонения перед людьми, которые обосновались в «храме печати». Как раньше, так и сейчас они для него — «небожители». Не из желания пустить пыль в глаза, а единственно из-за того, дабы не оскорбить своим видом их возвышенных чувств, и нарядился он таким щеголем. Впервые за московскую жизнь снял залатанную-перезалатанную боевую свою гимнастерку и диагональные галифе, обшитые по всем уязвимым местам тисненной под крокодиловую портфельной кожей, скинул сорок пятого размера (на пять номеров больше ноги) кирзачи, что перед отъездом в Москву пожертвовал брат, — и вот замерзает теперь. Барабанит обледенелыми ботинками по ледяному асфальту. Очередная дробь — отрывается резиновая подметка!..

Кому не известно это поганое чувство, когда из-за какого-то смехотворного пустяка, нелепой нечаянности рушатся вмиг выношенные долгими днями и ночами надежды? От ненависти к себе Тендряков чуть не заплакал. Ах, как он ненавидел эту сидящую в нем провинциальную неуклюжесть, эту прибывшую вместе с ним из «медвежьего» Подосиновца робость перед столицей! Ненавидел, но никак не мог с прошлым собой разделаться. Удача ему была нужна. Настоящая. Не похвала троечнику за этюд на четверку с минусом, а другая — по другой шкале исчисления.

Но не шла к нему такая удача. Нашептала, наобещала,

заманила в Москву, а теперь над ним потешается. Что ни шаг — ставит подножку. Не понять: то ли велит поворачивать оглобли в обратный путь, то ли, может, характер испытывает?

Если характер, тогда потягаемся... Выдернул из пострадавшего ботинка шнурок, примотал покрепче оторванную подметку и, затолкав поглубже все то, что в себе ненавидел, вошел к «небожителям».

Редактор, который вызвал его на предмет, так сказать, разбора достоинств и недостатков рукописи, оказался, впрочем, вполне земным человеком: творение молодого автора из села Подосиновец он не читал. Почему? Причина простая: газета повестей не печатает. И литературных консультаций начинающим писателям не дает. Конечно, можно было бы просто так полистать — ради любопытства, но на подобное чтение газета, простите, времени не отпускает. То да се — текучка, запарка. Короче говоря, автор может забрать свою повесть.

Да, вполне земным человеком был сотрудник литературного отдела «Комсомолки» Владимир Викторович Жданов. Но это не значит, что он только и умел заворачивать заведомо негодный для газетных полос материал. Еще он умел, исходя из своей сугубо земной профессии журналиста, распознать тренированным глазом, кто перед ним. Бездарь, как правило, воинственна, агрессивна, крик поднимает, а этот паренек, неловко прячущий дефект своей жалкой обуви, вон уже тянется за своим рукодельем: согласен забрать. Вид разнесчастнейший — явно не знает, куда теперь подаваться, но не только не напирает, даже не хнычет, не жалуется. И даже прощения просит, что столько времени зря морочил головы занятым людям. Признак хороший...

Словом, когда Тендряков вышел на улицу, в кармане у него был телефон журнала «Молодая гвардия», куда В. В. Жданов обещал передать его повесть. С началом войны журнал был закрыт, и вот теперь планировалось его возрождение. Подбирали штат литературных сотрудников, был утвержден главный редактор... Однако воспользоваться телефоном журнала Тендрякову так и не пришлось. Не успев выпустить ни единого номера, журнал «Молодая гвардия» прекратил свое существование¹.

¹ Лишь в 1948 г. издание было возобновлено как альманах молодых писателей, а в прежнем статуте ежемесячника журнал «Молодая гвардия» стал выходить и того позже — с 1956 г.

Нет, чтобы такое вдруг встало на пути его повести — закрыли журнал! — в тяжелом сне не приснится. Это уж не потешная с ним игра, это команда: отбой!

Отбой так отбой. Ну ее к черту, проклятую эту повесть! Написал на свою голову. Одна с ней морока, никакой радости. Забрать ее и забыть.

Пошел забирать — не отдали. Оказывается, портфель несостоявшегося журнала передан в одноименное издательство, его содержимое разбросано по рецензентам, и его, Тендрякова, повесть «Экзамен на зрелость» рецензент уже прочитал.

Какая-то женщина. С заковыристым именем — Магдалина Зиновьевна. Прежде чем передать рецензию в издательство, хочет с ним лично поговорить. Назначила день и час, когда он должен подъехать.

Вот тебе и отбой! До сегодняшнего дня, считай, и не было-то еще ничего. Только сегодня начало... Сел и поехал. А общежитие ВГИКа не в Москве — в Мамонтовке. Всегда без билета на электричке катался. Контролеры не задерживали — студент, что с него взять? А тут задержали. Забрали и вот второй уже час маринуют в милиции.

Снова подножка? А наплевать на нее! Теперь никакие гримасы судьбы ему не страшны. И когда наконец отпустили, хоть и терзался стыдом за опоздание, все же прибыл по указанному адресу.

Дверь открыл мужчина лет тридцати. В майорских погонах.

— Где вы пропадали? Мы давно вас ждем.

Помогает раздеться, вешает шинель на крючок, подталкивает в комнату. В комнате — стол, на столе колбаса, масло, хлеб. Магдалина Зиновьевна разливает по чашкам чай.

— Садитесь, пожалуйста.

А он стесняется сест. С детства еще, с голодных тридцатых годов, не может есть в чужом доме, с чужого стола. И сейчас говорит, что сыт. А сам чуть не валится с ног от одуряющего запаха колбасы. Черт бы ее побрал! Он и думать давно забыл, что она существует. Вот уж не предполагал, что такое ему еще предстоит испытание. Дурачки, наверно, он сейчас выглядит. И эта Магдалина со своим майором, должно быть, кроют себя почем зря, что вздумали его пригласить. Но он ничем им помочь не может. Таков уж есть. Как говорится, бедный, но гордый.

— Ну, хорошо,— улыбается майор.— Тогда давайте сразу приступим к делу.

Представляется: Николай Сергеевич Атаров. Жена прочитала повесть, и ей показалось, что в ней что-то есть. Сам он тоже немного пописывает и потому захотел познакомиться с работой молодого товарища. С детства страдает хроническим любопытством. Так вот. Повесть написана человеком, абсолютно не представляющим, что такое литература. Никакой школы. Полное отсутствие технических навыков. Ужасный язык. Но за всеми бросающимися в глаза, можно сказать, вопиющими несуразницами и промахами — редкая наблюдательность, неподдельная искренность, живая душа. Вывод? Надо работать. Серьезно и много. И тогда может выйти толк. Все зависит от него самого. От его желания, воли, усидчивости. Будет все это — будет писателем. Нет — нет.

И куда только скованность задевалась! Настолько почувствовал себя человеком, что сам намазал хлеб маслом и выпил целую чашку чая. Однако колбасу так и не тронул.

...Вот говорят: такому-то повезло на людей. Имеется в виду, что, мол, не встретить человек в решающие для него дни и часы доброжелательного, заинтересованного отношения со стороны тех, с кем пересекались его пути, из него, возможно, ничего бы не получилось. Конечно, это правило не для всех, но в случае с Тендряковым, я думаю, все произошло в соответствии с общим правилом. Думаю, что, не повстречайся ему зимой 1946 года Николай Атаров, он вряд ли бы стал писателем. Ведь настоящей тяги к литературе у Тендрякова тогда не было. Не было того зуда, что не дает жить изведавшим сладость в уединении сочинительства. С тех пор как в пику Филеву написал «Экзамен на зрелость», он строчки из себя не выдавил. Даже не пытался. А позвонил в «Комсомолку» и проявил некоторую энергию в дальнейшем лишь потому, что надо было освободиться от груза, который сам на себя взвалил, закончить, так сказать, дело. Это дело мешало ему, отвлекало от занятий во ВГИКе, где все у него складывалось, в общем, прилично, не хуже, чем у большинства студентов, и его раздражало, что сидит гвоздем в голове эта не дающая сосредоточиться на учебе неясность с повестью. Он только и ждал-то тогда — ясности: да или нет. И если бы услышал «нет», с легкой душой прервал бы свой, как говорится, литературный путь. И был бы у нас не писатель, а художник В. Тендряков.

Но повстречался Атаров. Нет, я не решаюсь со всей категоричностью утверждать, что именно Атарову обязана наша литература пополнением в свои ряды Тендрякова. Были и другие — и многие! — люди, которые в той или иной мере причастны к судьбе Тендрякова-писателя. Однако Атаров был первым из литературной братии, кто не по служебной неволе, а из *вольного любопытства* (случай нечастый!) залез в неуклюжие ученические каракули Тендрякова и что-то там разглядел. И он не только приободрил молодого автора, зажег надеждой, пообещав, что тот станет писателем, если серьезно отнесется к работе, — он сделал то, о чем «нищий студент» не смел и мечтать: при содействии Атарова с Тендряковым был заключен издательский договор. А это значит, что ему выплатили аванс. Деньги!

Сумма была преогромная. Тендряков никогда не держал в руках такую толстую пачку. Он мучился, не зная, как лучше распорядиться свалившимся на него богатством, но наконец решился: купил новенькие (не на толкучке, а в магазине!) галоши. Правда, они оказались великоваты, и их пришлось сменять (уже на толкучке) на старенькие часы, которые, в свою очередь, тоже уплыли из рук — продал, чтобы выкупить железнодорожный билет до Подосиновца, где уже год как не был и куда рвалась его истосковавшаяся по родным, так сказать, осинам душа.

Итак, капитал он свой промотал — будто его и не было. Но ведь был! И галоши, и часы, и поездка в Подосиновец — все это было. Отвертеться от этих фактов, выкинуть их из головы — не получалось. И тогда он впервые подумал о том, что двум богам молиться нельзя. Надо одному. И, видимо, тому, кто больше к нему расположен. Кто сам ему навстречу пошел.

А тут еще такое случилось. Мужем сотрудницы «Молодой гвардии», которой было поручено работать с повестью Тендрякова, оказался Александр Михайлович Дроздов, старый писатель, хорошо знавший Бунина, водивший знакомство с Чеховым; и вот он, когда рукопись приняла надлежащий вид и была готова отправиться по издательским коридорам, вынул из нее экземпляр и — пока суд да дело — отнес в Литературный институт имени М. Горького. А некоторое время спустя собственной персоной ректор Литинститута Федор Гладков объявил Тендрякову, что творческий конкурс он выдержал на «отлично» и от экзаменов освобожден.

Какой творческий конкурс? Какие экзамены?.. Опустим художественное описание чувств молодого человека, неожиданно-негаданно приглашенного на аудиенцию к автору знаменитого «Цемент» и услышавшего из его уст столь лестное для себя предложение; скажем только, что именно здесь, в кабинете Гладкова, Тендряков сделал окончательный выбор. Последние дни он только тем и занимался, что взвешивал всевозможные «за» и «против», сравнивая свое отношение к двум «богам» и их к себе отношение. Сам он равно, по сути дела, делил свои привязанности между живописью и литературой, но вот литература и живопись в своих привязанностях явно были к нему неравны. В то время как один из «богов» был к нему вполне равнодушен, другой засылал и засылал своих «эmissаров», которые не столько ласковым словом старались обратить его в свою веру, сколько делами реальными, тут же дающими результат.

Короче говоря, учебную осень 1946 года Тендряков встретил студентом Литературного института имени М. Горького.

А в это время в «Молодой гвардии» дочитывали его «Экзамен на зрелость». После вышедшего в августе Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» в издательствах, в том числе и в «Молодой гвардии», перетряхивались портфели, готовые к набору рукописи заново пересматривались, переделывались, переписывались. Как и многим другим, предложили и Тендрякову — так сказать, в свете Постановления — переработать повесть.

Но он отказался. Он и тогда уже был твердый орешек. Не хотите — не надо. А кромсать самого себя, вписывать то, что душа не велит, — ищите других.

Первая повесть Тендрякова так и не увидела света. Впрочем, может, оно и к лучшему. Уважающие себя писатели не любят оставлять свидетельств своего ученичества.

3

В школе говорят: «О чем это произведение?»

Зададим себе и мы этот школьный вопрос: о чем же все-таки написал Тендряков свою первую повесть?

А может, как раз о школе она и была? И название подходящее — «Экзамен на зрелость», и тема, как мы знаем сегодня, — одна из самых стойких, самых больших

у Тендрякова. «За бегущим днем», «Ночь после выпуска», «Весенние перевертыши», «Расплата», «Шестьдесят све-чей» — все эти произведения, опять же по-школьному го-воря, о школе написаны. Может, та повесть была первен-цем в названном ряду? Заявкой на будущий обстоятель-ный разговор о воспитании и обучении подрастающей смены?

Или о другой зрелости написал Тендряков — о ранней зрелости деревенских мальчишек двадцатых — тридцатых годов? Ведь, бегая по селу (тогда еще Макаровскому Во-логодской области, где родился и жил до 14 лет), он, сын районного руководителя, уже многое видел и многое слы-шал. Слышал, что говорят на улицах и что дома у него го-ворят. Видел людей, которые без страха заходят к ним в дом и которые, проходя по улице, со страхом поглядыва-ют на окна их дома. В голове прочно сидели короткие, как выстрел, слова: кулак — враг.

Он рос в переломанном надвое мире: бедные и богатые, сытые и голодные, друзья и враги. Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Хотя сам был от горшка два вершка, но по-взрослому свято верил в правоту и справед-ливость этого изречения и вообще считал, что вполне раз-бирается в представшем перед глазами простом как репа, переломанном надвое мире.

Смущало, пожалуй, только одно: какая сила заставила его в 1933 году, хоронясь от людей, носить куски свезен-ным к ним из разных концов России врагам-кулакам? С тех пор засело в нем как болезнь, что в нашей пролетар-ской стране стыдно быть сытым... Может, об этом экзамене была та повесть?

Полтора десятилетия спустя после первой своей лите-ратурной попытки Тендряков напишет: «Мое будущее на-чиналось до моего рождения». Он имел в виду своего отца, который на подходе к зрелому возрасту успел обрести биографию, а вместе с ней — твердое представление о том, как и зачем надо жить, и, само собой разумеется, делами своими, шагами как бы уже выстукивал код предстоящей жизни не рожденного еще сына. Так, может, об отце написал Тендряков первую свою повесть? О том, как прост-ой деревенский мужик, год просидев в окопах герман-ской войны и получив крест за храбрость, в феврале 1917 года оказался среди восставших в Свеаборге, стал красно-гвардейцем, вступил в партию, на польском фронте за уме-лые действия был отмечен именными часами, а после граж-

данской возглавил Советскую власть в том самом уезде, из которого, еле-еле умея буквы корябать, вышел когда-то? Может, об этом?

Нет, обо всем этом — об отце, о детстве, о школе — Тендряков позже будет писать. Когда не только видеть и запоминать, но и думать научится. А первое его литературное упражнение было если не бездумным, то во всяком случае сильно зависящим от чужих умозрений.

Итак, о войне написал Тендряков свою первую повесть. Он сам воевал, но написал не о том, как воевал, не о том, что пережил, перечувствовал там, на фронте. Странно? Если хорошо подумать, ничего странного здесь нет. Литература о Великой Отечественной войне только еще зарождалась. К тому времени, когда Тендряков впервые сел за писательский стол, других образцов повестей и рассказов о войне, кроме написанных между командировками на передний край писателями-корреспондентами, не существовало. Этим писателям — именитым и авторитетным — нельзя было не верить. В голову не приходило, что о войне можно писать как-то иначе. Не так, как писали они. Они здесь были законодатели, и выйти за пределы сложившихся представлений, как выяснилось впоследствии, удалось немногим — по пальцам можно пересчитать. Да и случилось это не в конце войны и не сразу после ее окончания, а потом, когда те, кто сам воевал, остыли от жара сражений, отплакали по погибшим товарищам и, оттренировав руку на мирном материале, решили наконец высвободить свои знания о войне, рассказать о том, как выглядела она день за днем перед лицом смерти.

Тут тоже властвовал свой подход, своя, продиктованная чрезвычайной ответственностью, закономерность. Знания тех, кто сам воевал, не укладывались в рамки существовавшей литературы. Эти рамки нужно было не просто раздвигать и перекладывать на новый лад — их нужно было ломать. А литературного опыта не было. Его нужно было приобрести. И не случайно, например, Г. Бакланов, прежде чем писать свои военные повести, писал очерки и рассказы о жизни послевоенной деревни. Не случайно Ю. Бондарев сначала издал вполне мирный сборник рассказов «На большой реке» и только через четыре года после его выхода опубликовал «Батальоны просят огня». Не случайно К. Воробьев выпустил целых три тематически разношерстных сборника и лишь после этого почувствовал себя вправе вплотную подступить к теме войны, написав

«Убиты под Москвой». Первой военной повести В. Курочкина «На войне как на войне» предшествовали очерки, рассказы и повести, из которых никак не следовало, что автор войдет в нашу литературу именно как военный писатель. А В. Семин писал, издавал книги, всем было ясно, что он один из самых дотошных исследователей нашего обыденного житья-бытья, и вдруг оказалось, что он мучился и терпел целых тридцать лет, нося «под сердцем» книгу «главных жизненных переживаний» — «Нагрудный знак «OST».

Нет, не надо жалеть, что писатели поколения воевавших не выговорились сразу же после окончания войны. Ведь обладание жизненным материалом — ничто, если ты не умеешь им распорядиться. А с несовершенными средствами, сделай они такую попытку, конечно, загубили бы и материал, и себя — перегорели бы, не смогли бы написать потом о войне так, как написали.

Так, может быть, Тендряков тоже встал бы в ряд военных писателей, пробивших себе дорогу на рубеже 50—60-х годов, не напиши он — от войны не остывший, не накопивший профессионального опыта — ту военную повесть? Не успел ступить на порог, а уже выговорил, вытряхнул из себя все, что видел и пережил, что знал и что помнил, — и остался ни с чем, сам себя обокрал, сам себе закрыл, казалось бы, наиболее подходящий в литературе путь? Исходя из только что сказанного о писателях поколения воевавших, мы вправе предположить, что с Тендряковым случилось именно это.

Но нет. Уже потому хотя бы, что в рамках литературы, по канонам которой он строил «Экзамен на зрелость», его опыт бойца переднего края оказался ненужным, излишним. Ему не нашлось, да и не могло найтись места в той ученической повести. Ведь Тендряков учился у тех, кто, как один, смотрели на войну совершенно с другой, нежели он, позиции. И героями их произведений были *герои*, а не те в обмотках и просоленных, изодранных гимнастерках солдатушки, с которыми вместе — уж так сложилась его фронтовая судьба — приходилось куда как чаще бегать назад, чем героически продвигаться вперед. Словом, Тендряков знал и помнил одну войну, а написал о другой, которую не знал, но о которой читал и поверил, что именно так о войне надо писать.

Уже учась в Литинституте, он опубликует (печатный дебют) рассказ «Дела моего взвода» — снова о том, чего

не было, что сам не пережил; выдумает рассказ «Винтовка старшины Соловьева». Сам был радистом в артиллерийской батарее, а напишет о снайперах... Погибает всему фронту известный снайпер, и вот его винтовку передают не самому опытному и достойному стрелку, а новичку, который толком-то и стрелять не умеет. Чтобы проницая ответственностью. Чтобы, чувствуя постоянно обращенные на него взоры товарищей, тоже стал мастером своего дела. И он, конечно, становится им: слава, награды и прочее в этом духе.

Этот рассказ был опубликован в журнале «Смена» в 1952 году. Семь лет пролетело с тех пор, как сел он в пику Филеву за сочинительство. Не потерял ли он эти семь лет? Ну, закончил Литинститут, стал дипломированным как бы писателем. А что он такого написал? Что нового о жизни людей рассказал людям? Ведь и повесть, и оба рассказика — надо смотреть правде в глаза — высосаны из пальца. Не только людям, они и ему ничего не дали. Разве что грошовые гонорары да все чаще и чаще приходящее понимание, что занимается чем-то не тем, чем надо бы заниматься.

Говорят, что пишущий человек должен найти свою тему. Должен писать только о том, что знает и что его неподдельно волнует. В этом лишь случае пишущий может добиться успеха, «реализоваться». Вроде все правильно. Теоретически это так. Но вот на практике — с ним-то! — не получается. Тема войны — уж что, казалось бы, знает он лучше, чем жизнь человека на передовой? И разве что-нибудь волнует его больше, чем память о пережитом на фронте? Так, может, об этом ему и писать — о пережитом? Как, окончив в Кирове школу радиотелеграфистов, ввинтил в петлички по три треугольника и весной 1942 года в степи под Калачом принял первый свой бой. Как через несколько дней контузило, оглушило и, с разламывающейся головой, оглохший, он отступал за Дон. Как угодил «по разнарядке» (три человека с отступающего подразделения) в штрафную роту. Как в суматохе о штрафниках было забыто и он целый месяц прокантовался в запасном полку, с утра до вечера тыкая в чучело деревянным штыком и мечтая лишь об одном: скорей бы на фронт. Как, наконец, попал в маршевую роту и, получив треть буханки и банку консервов на брата, отправились они к фронту, но заблудились в степи и только через шесть дней прибыли под Сталинград. Как в обороне сто-

яли. Как прошлогодними дорогами отступления наступали в украинских степях. Как подошли к Харькову и как за день до его взятия — 23 августа 1943 года — было тяжело ранен...

Так, может, о себе надо писать?

И Тендряков напишет. Но случится это потом. Когда, постигнув азы литературного ремесла, вступят наконец в сражение за новый подход к изображению войны те, кто как и он сам, вынесли на своих плечах ее тяжкую повседневность. Когда сам он, разорвав колючую проволоку литературных законодательств, станет тем Тендряковым, за которым будут числиться уже собственные, им самим разработанные параграфы в своде уложений и правил разговора с читателем, а имя его будет отождествляться в читательском восприятии с нетерпеливой гонкой за быстробегущим днем.

Так вот, в начале шестидесятых годов Тендряков как бы приостановит свой бег, оглянется, вернется назад — в окопы сороковых. Но произойдет это не потому, что к этому часу другие, более, чем он, отважные и рискованные, вызвав на себя огонь разъяренной критики, в том огне не сгорели и тем самым дали жизнь неизвестной доселе трактовке прошедшей войны, а заодно подсказали, направили и научили, как надо о ней писать. Тендряков никогда за чужие спины не прятался, не пользовался плодами чужих побед. И учить его, как писать о войне, было в ту пору не надо. Потому что он был научен уже — как не надо о ней писать. Тут вот что произошло: время настало. От общей судьбы писателей своего поколения Тендряков уйти просто не мог.

Вернувшись в войну, он недолго в своей боевой молодости задержится. И временное в нее возвращение за потерю времени считать не будет. Сегодняшний день никуда от него не уйдет — догонит. А вот о войне промолчать, о том, что видел он там, не имеет права. Слишком много, как выяснилось, на исторической карте войны туманных пятен. Какой же он, к черту, писатель, если, зная войну, о ней умолчит, не внесет, как говорится, лепту в общее дело?

4

Впервые после своих «военных неудач» Тендряков возвращается в годы войны на страницах романа «За бегущим днем», вышедшего в 1959 году. Впрочем, это

слишком сильно сказано: на страницах. Всего несколько абзацев выделила его память тому, что с ним было на фронте.

Я пишу «с ним», «его память» не потому, что повествование в романе идет от первого лица и абзацы «воспоминаний» Андрея Бирюкова начинаются словом «помню», а потому, что Тендряков отдал своему герою собственную военную биографию. Сделал его — кем сам был на фронте — связистом, заставил отступать из-под Калача, оборонять Сталинград, летом 1943 года под селом Циркуны на Харьковщине тяжело ранил — только не в руку, куда ранен был сам, а в бедро. Тут, пожалуй, единственное расхождение с собственной биографией. Но не в нем суть. Суть в том, что, в отличие от своих первых попыток заглянуть в черные глазницы войны, он теперь заглядывает в них не общими, так сказать, глазами наставницы-литературы, к которой когда-то пристроился было, а глазами бывшего бойца переднего края войны: «Под обрывистым берегом жалкой речонки Царицы валялись скованные морозом трупы: изломанные тела, торчащие вверх ноги, скрюченные судорогой кисти рук, и все это переплетено...»

Всего одна фраза в тех коротких абзацах, рисующая (простите за не совсем, что ли, уместное словосочетание) военный пейзаж. Но она стоит куда больше всего того, что было написано им о войне в годы тщеславно-неопытной молодости. Война не цепь героических поступков и подвигов, а грубое, жестокое, вынужденное дело людей, отвратное их человеческому естеству, — вот как он теперь пишет. Вот что он понял, осмыслил и принял в себя за несколько лет другой великой войны — за правду в литературе.

В романе «За бегущим днем» Андрей Бирюков вспоминает, как кричал в телефонную трубку: «Резеда! Резеда! Я Одуванчик!» Через пять лет в романе «Свидание с Нефертити» те же позывные выкрикивает Федор Матёрин. Конспективно изложив свою военную биографию в 1959 году, Тендряков подробно описывает ее в 1964-м.

На некоторых подробностях стоит остановиться.

...Невзлюбивший Матёрина лейтенант Пачкалов посылает его за водой. Палящее солнце, «бесстыдно лысая» степь. Все подходы к одиноко стоящей ветле, под которой колодец, простреливаются. Трупы вокруг — наших солдат, немецких. Умирая от жажды, люди гибнут от пуль. Ползком, перебежками все ближе подбирается Матёрин

к колодцу, вглядывается в залитый солнцем склон и думает: так вот как выглядит место, где он умрет!

Ах, как не хочется ему умирать! Да и было бы из-за чего! Из-за какого-то дурацкого котелка воды. Из-за того, что его, а не другого кого-то невзлюбил лейтенант. И приходит спасительная мысль: а может, вернуться и доложить, что воды не нашел. Ну, покричит Пачкалов, помучаются ребята до темноты, пока кухня прибудет. Но зато он останется жить. Жить! Ради того чтобы жить, ведь можно пойти на эту в общем невинную, маленькую ложь. Он же талантлив. Учитель рисования не раз говорил, что у него завидное будущее. Разве имеет он право рисковать своим будущим, в котором должен раскрыться и засверкать на радость себе и людям его талант? Спасая себя, он не только ведь для себя спасает талант — для людей спасает... И Матёрин разворачивается, ползет прочь от колодца.

Здесь неминуемо вспоминаешь Мезенцева из баклановской «Пяди земли», кстати тоже связиста артиллерийской батареи. У него тоже талант — на валторне играет. Чтобы выжить, он идет на любые подлости. И не терзается этим. Открыто говорит своему лейтенанту, что его жизнь куда ценней, чем жизнь остальных солдат взвода.

Не думаю, что Тендряков хотел что-то добавить к рассказанному Баклановым или взглянуть на известную уже в литературе ситуацию с другой стороны, да и вообще вряд ли тут есть прямая связь с баклановской повестью. Однако трудно избежать соблазна и не провести параллель, ибо сама постановка вопроса — как быть человеку, верящему в свое предназначение, в завидное будущее, перед угрозой смерти? — не лишена любопытства.

В самом деле: как быть? Избегая долгих рассуждений, думаю, что в конечном итоге все тут зависит от взаимоотношений человека со своей совестью. Мезенцев предстает перед нами законченным себялюбцем, уверенным в своем праве выжить за счет других. Ему ничего не стоило, оказавшись на оккупированной территории, не только отсиживаться тихохонько, ожидая, когда другие прогонят немцев, но и играть по вечерам на своей валторне, услаждая досуг утомившихся за «рабочий день» блюстителей «нового порядка». Ему ничего не стоило тогда же, при немцах, видя вокруг горе и смерть, жениться и завести детей. И ничего не будет стоить ему не помнить своего поведения на войне потому что его трусость и его подлость —

не трусость и не подлость, а вполне, по его убеждению, оправданное в сложившихся угрожающих обстоятельствах поведение человека, сумевшего вместо себя подставить под глупую пулю других, бесталанных, а себя, талантливую, сохранить. Он будет даже гордиться собой.

Федор Матёрин недалеко отполз от колодца: повернул обратно. Трусость свою, жалость к себе, ту «маленькую ложь», которую он изготовил было для лейтенанта и страдавших от жажды бойцов взвода, если останется жив, он конечно же может скрыть — от будущих друзей, будущей жены, ото всех. Но только не от себя! Жить и знать, что жизнь «куплена обманом», — для Матёрина это невыносимо. Он презирает ту минутную слабость в себе. Не одолей он ее, всю жизнь пришлось бы себя презирать. А с презрением к себе, с памятью на всю жизнь совершенной подлости — выживет ли в нем тот самый талант, ради спасения которого в минуту страха он чуть было не уговорил себя, что лучше, ценнее других?

Нет, не выживет. Талант не сам по себе живет в человеке. Он от человека неотделим — как честь, как совесть. Наверное, есть таланты бесчестные, таланты бессовестные. Однако подобные «сожительства» в людях противостественны, противопоказаны человеческой сути Матёрина. Потеряй он совесть и честь, он всего себя потеряет. И талант тоже. И вот, вытолкнув ядовитое — он лучше других, его растревоженная совесть не успокаивается, продолжает мучить: а что, если хуже? Все в Матёрине негодующе восстает против этого: «К черту!» И на глазах у противника, под пулеметным градом он достает из колодца злосчастную воду, оказавшуюся в этот измученный жадной день дороже пролитой за нее крови.

Да, он такой. Ему безразлично, что будут о нем думать и говорить другие. Но прежде всего он сам должен хорошо о себе думать. Должен быть чист перед своей совестью.

Вопрос: а было ли то, что произошло с Матёриным у степного колодца, в жизни самого Тендрякова? Судя по всему, было. Впрочем, это не столь уж и важно. Важно тут вот что: Тендряков, имевший все права и возможности соорудить из Матёрина героическую личность, не сделал этого. Матёрин рискует жизнью не потому, что без страха и упрека герой, а как раз потому, что замучил себя упреками, страшится разлада с самим собой. Он не плакатный

чудо-богатырь, на которого должны равняться другие, а просто человек, не желающий быть хуже других.

Такой он и дальше. Тендряков исключительно сдержан в рассказе о его, так сказать, ратных делах, скромнен в определении ему места среди воевавших. Матёрин разматывает и сматывает телефонный кабель, под вой снарядов и мин переползает с катушкой на спине от воронки к воронке, роет окопы и блиндажи. «И ни единого выстрела по немцам из автомата, который постоянно висит на шее...»

Ни единого выстрела! Такой герой палец бы не просунул в литературу корреспондентов. А тут писатель даже малейшей попытки не делает, чтобы как-то там разукрасить боевыми делами его пребывание на переднем крае, не стесняется, что главный герой у него воюет не столько с немцами, сколько с самим собой.

Удивительно? Было бы удивительно, если бы случилось наоборот. Если бы к исходу второго десятилетия после окончания войны Тендряков написал, что победу добывали красавцы героини, а не миллионная масса окопных тружеников и терпеливцев, обыкновенные люди, которые, преодолевая страх смерти — естественное желание уцелеть в мясорубке войны, — стремились как можно достойней выполнить предписанные их военной специализацией обязанности. Специальность Матёрина, его место в механизме войны — прокладывать связь, вот он и ползает под огнем, таскает катушки с кабелем, надрывается в грохоте боя: «Резеда! Я Одуванчик!» И роль его в бою ничуть не меньшая, нежели у тех, кто непосредственно ведет огонь по врагу. Не будет надежной связи — грош цена артиллеристам, которых обслуживает его отделение.

Тендряков на войне был связистом, видел войну глазами связиста — о связистах и написал. Был бы, ну, скажем, топографом, понтонщиком, даже обозником — написал бы о них, и это тоже был бы взгляд на войну. И не менее ценный для ее понимания, не менее нужный. На войне нет зазорных профессий, малозначимых служб, специальностей и занятий — каждый узел и узелок одинаково нужны и важны в сложном устройстве армии. Забарахлит, откажет один — отразится на всем устройстве...

Командиру отделения связи, естественно, никто не докладывает, в работе каких именно узлов произошло нарушение, он просто поставлен перед фактом: нарушение произошло... Они отступают. Страницы, описывающие отступление по степи к Дону, переправа отступающих войск

через Дон, пожалуй, самые сильные в военных главах романа.

Об отступлении писали и писатели-корреспонденты. Под напором врага части и соединения отходили на заранее подготовленные позиции, как правило, планомерно, соблюдая порядок. Время от времени в рядах отступавших возникал какой-нибудь потерявший самообладание человек — трус, паникер; его быстро каким-либо образом изолировали от других бойцов, и снова — порядок, планомерное отступление. Горечь разбежала сердца людей, почерневшие от копоти и усталости лица выражали великую скорбь по оставленным неприятелю городам и селам, но натруженный шаг их был тверд, и слова, обращенные к плачущим вслед им женщинам и старикам, звенели твердой уверенностью: вернемся!

Что ж, иначе в годы войны и в первые послевоенные годы писать о трагическом времени поражений и неудач было нельзя, невозможно. Рассказ об этом периоде войны как бы сверялся с газетной трактовкой происходящего и поэтизировался мечтой-уверенностью о возвращении в оставленные врагу города и села. Нет, в той мере, в какой это было в то время возможно, писатели-корреспонденты сумели передать трагедию черных месяцев отступления. Но сама тогдашняя жизнь продиктовывала малую степень правды в описании того, как и почему мы отступали...

Итак, летом 1942 года наши войска откатываются к Дону. Не на заранее подготовленные позиции, не планомерно — бегут. В пыли, в поту, в тесноте тысячи изможденных бойцов, стада машин, вереницы обозов. Надрывно воют моторы, лязгают гусеницы, с оружием наголо, ругаясь охрипшими голосами, пробиваются те, кто сильнее, к единственному через Дон парому. Сумятица. Каша. И в этой каше — Матёрин.

Он потерял свой взвод. Он уже на берегу, у самой воды, но все оборачивается, кидается к каждому задранному вверх стволу: а вдруг свои? Крутятся среди брошенных орудий, танков, повозок, машин, он видит, как, «налившись багровой краской», схватились врукопашную возле столкнувшихся в лоб могучих грузовиков два капитана; как вцепилась в какого-то майора женщина в белом халате: «У меня раненые! Поймите — раненые...» — а майор вырвался из ее рук и, опустив глаза, поспешил затеряться в человеческом месиве; как штурмует «бескомандная пехота» паром, на который артиллеристы завозят гаубицы...

«Лезут прямо по воде, на высокий борт. На борту выплывает молодой лейтенант, трясет остервенело над фуражкой пистолетом, в крике распахнут рот, а голоса не слышно, хромовым сапогом бьет по лицам: раз! раз! Люди падают в воду, не ругаются, не угрожают, только утираются и опять лезут, отталкивая друг друга. А лейтенант беззвучно вопит — раз, раз, хромовым сапогом по лицам. Головы исчезают и вновь вырастают над бортом, кто-то пытается уцепиться за хромовый сапог. Лейтенант оскалился, пистолет в его руках дернулся раз, другой — выстрел, выстрел, в упор в глаза! Падают мешками, падают и уже не поднимаются. Остальные шарахнулись, спотыкаясь, рвут с плеч винтовки, выпутываются из автоматов. Винтовочные сухие хлопки, коротко рывкнущая автоматная очередь, и лейтенант, косо взглянув сникшим лицом в мутную прибрежную воду, медленно, медленно стал падать».

Такое вряд ли можно придумать. Именно *такое*. Потому что изобразить-разукрасить панику можно куда как поярче и пострашнее. Но Тендряков этого делать не стал. Написал так, как запомнил, не прибегая к услугам воображения. Все эпизоды и сцены, из которых складывается наше представление о происходящем на берегу Дона, обрели жизнь как бы не за столом писателя Тендрякова, а застряли в глазах младшего сержанта Матёрина, которому в его положении некогда было раздумывать над увиденным, анализировать, предаваться чувствам. Он просто *видит* — на ходу, на бегу, и вот эта почти механическая, без участия мысли и сердца фиксация возникающих перед его глазами «баталий» — в задыхающиеся секунды чтения — создает тошнотворное чувство уязвимости собственной кожи, которая, как и матёринская, гроша бы не стоила, попади ты летом 1942 года в ту сумятицу на донском берегу.

Уверен: отдайся тут Тендряков соблазну покраще эту сумятицу расписать, поживописней, что ли, — вряд ли бы к нам пришла сопричастная боль. Художественная обстоятельность — далеко не всегда тот путь, что ведет к сердцу читателя. В некоторых случаях именно отрывистость слов, беглость фраз, мелькающая скоротечность картин, лихорадочная гонка — вперед! вперед! — от вроде бы напрашивающихся растолкований и есть тот художественный темп, что единственно способен вызвать в читателе желаемую реакцию.

Наш случай из этих *некоторых*. Мы не успеваем опомниться, как оказываемся в продублированной холодной потом

шкуре Матёрина. И — хотим того или нет — ощущаем себя в толпе, свалившейся к Дону, такими же, как сотни и тысячи из этой толпы. Ничуть не лучше. Паника — тот вид «боевых действий», который не регламентирован, не предусмотрен планом. Для массы людей он становится неотвратимым тогда, когда в высоких штабах был допущен глубокий просчет стратегического порядка и опытный враг сумел воспользоваться этим просчетом. И естественно, что попавшие в отчаянное положение люди, которые, казалось бы, ни о чем другом, кроме как о собственном спасении, думать не могут, все же думают: о тех, по чьей милости втравлены они в это несчастье. И все же продолжают надеяться на их разум и волю. Как на спасительную соломинку... И вот Матёрин бросается к плечистому, рослому командиру с четырьмя шпалами в артиллерийских петлицах. Полковник!

Бросается... Но испуганно опускает вздернутую было к каске ладонь. У полковника мятые запавшие губы, тоскующая покорность в глазах, распояской «травянисто-зеленая гимнастерка», — видимо, ремень с пистолетом бросил, когда по степи — по спинам, по головам — продирался к переправе. И вот нет ее, обязанной быть организованной переправы. И стоит он теперь, полковник, невидящим, тоскующим взглядом скользя по отрезавшим ему путь к спасению, жадно облизывающим прибрежный песок водам Тихого Дона-батюшки.

Здесь одна из самых горячих точек в рассказе о терзаниях Матёрина в суматохе прижатых к берегу войск. Но Тендряков не горячится и здесь: не пускается в напрашивающиеся, казалось бы, гневные обличения, не размазывает лаконично изложенный факт собственными *сегодняшними* чувствами. Не сбрасывает взятый темп.

Без лишних слов нам дается понять: встреча с полковником вырвала у Матёрина последнюю надежду-соломинку, что паника будет остановлена, что он может еще пригодиться для каких-то там организованных действий. Всем обреченным видом своим полковник как бы освобождение ему подписал от долга быть в общем строю. И Матёрин, впервые в жизни почувствовав себя бесполезным, не нужным никому, кроме себя самого, «омертвело» решает: «Выкручивайся, Федька, как знаешь».

Тендряков о Матёрине пишет, но этим «выкручивайся, как знаешь» он словно обо всех оказавшихся в его положении написал. Нет, наверное, для людей, одетых в воен-

ную форму, большего страха, чем страх-осознание, что они брошены командованием на произвол судьбы, что — живые — они уже вычеркнуты из списка живых. Боец только тогда боец, когда в строю таких же, как сам, он ощущает твердую волю управляющего этим строем. Потеряв управление, строй разваливается; выброшенный из строя вчерашний боец, по сути дела, перестает быть боевой единицей.

Под раздирающие душу крики: «Спа-си-те! Тону-у!» — Матёрину удается-таки переправиться через Дон. И здесь он находит свой дивизион. И узнает, что командир дивизиона снят с должности и ему предстоит отправиться в штрафной батальон. За что? Да, в дивизионе не осталось орудий. Но ведь он их не бросил. Они потеряны в боях, под бомбежкой, это знают все, кто прорывался вместе с капитаном за Дон.

Однако Матёрин не успевает даже пожалеть капитана: зачитывается список рядовых и сержантов, которые «за проявленную в боях трусость и паникерство, за безответственное отношение к высокому долгу защитников нашей Родины от фашистских захватчиков» тоже подлежат отправке в штрафбат, и среди других выкрикивается он, Матёрин.

Новоиспеченные штрафники ворчат: «На нас отыгрываются», «Стрелочник виноват», — а Матёрин уже рванул к сидящему на раскинутой плащ-палатке комиссару Сергееву: «Доказать, что я трус и паникер, не может никто!» Но никакие аргументы на комиссара не действуют: есть приказ отчислить в штрафники по три человека с подразделения. Приказ есть приказ. Точка.

Тендряков представляет нам комиссара таким: у него «пышные плечи», «широкий бабий зад», глаза какие-то «послеобеденные, дремотные», «в рыхлой фигуре с брюшком, переваливающимся через ремень, было что-то домашнее, обогретое, напоминающее о тюлевых занавесках, разбитых шлепанцах, кошке, мурлычущей на коленях...». Но мало этого: в часы боев — на наблюдательном пункте или на огневых позициях — Сергеев не появлялся, на марше — в колоннах — его тоже никто не видел. И вот только теперь, когда не с врагом, а со своими пошла война, он выскочил на первую роль.

Иными словами, Тендряков рисует нам — с какой стороны ни взгляни — дрянного человечешку, эдакого трусливого обывателя, одетого в военную форму, который,

дабы после войны вновь залезть в свои шлепанцы, в бою незаметен, но зато после боя с холодной душой выполняет спущенное сверху жестокое и несправедливое распоряжение, эдакая скотина, плевавшая на судьбы людей, заведомо невиновных в случившейся катастрофе, равнодушно жующая словесную жвачку: «Приказ есть приказ. Ничем не могу помочь».

Матёрина здесь понять можно: наткнувшись на вопиющую по отношению к себе несправедливость, он видит в человеке, который эту несправедливость непосредственно осуществляет, все самое гадостное и мерзкое, ему некогда думать о том, что Сергеев, в сущности, непричастен к его судьбе, что он лишь слепое орудие в чужих руках, что, будь на его месте любой другой, от него, надо думать, Матёрин услышал бы то же самое: приказ есть приказ. Но не кому-то другому, а именно Сергееву выпала эта неблагодарная миссия, и потому нет для Матёрина хуже человека, чем комиссар... Так что Матёрина понять можно.

А Тендрякова? Нет, он не полностью, так сказать, солидарен с героем. Он замечает то в комиссаре, что за слезами злого бессилия Матёрин увидать не в состоянии: то сожалеюще-добрую искорку поймает в глазах Сергеева, то вдруг покажется ему, что Сергеев стесняется возложенной на него роли, стараясь спрятать за напускным спокойствием чуть ли не стыд за чинимый над невиновными неправедный суд. И все же авторская «коррекция» мало что меняет в нашем представлении о комиссаре Сергееве. И невольно начинаешь подозревать, что, спеша вычертить, так сказать, на карте войны зигзаги судьбы Матёрина, Тендряков в данном случае переусердствовал в спешке. Возможно, что его самого летом 1942 года отправил в штрафбат человек, подобный Сергееву, может быть, даже как две капли воды на него похожий. Но не стоило ли тут, приостановив доподлинный ход по следам памяти, поставить на место Сергеева с невоенным брюшком — другого человека: настоящего военного? Тем более что таких людей было неизмеримо больше среди командиров и комиссаров, чем «невоенных» Сергеевых. И им — в силу того что приказы вышестоящих начальников в армии не подлежат обсуждению, не говоря уже о невыполнении их, — тоже приходилось собственноручно подписывать приговоры не всегда, как говорится, праведного суда. Вот если бы на такого человека взвалил Тендряков миссию комиссара Сергеева, надо думать, мы стали бы свидетелями трагедии

не одного лишь Матёрина и его невинных товарищей. Отправлять на верную гибель людей, которые своей кровью должны смыть не свой, а чужой позор, не свою, а чужую вину перед Родиной,— для честного, совестливого командира трагедия не меньшая, нежели для самих непроштрафившихся штрафников.

Но не будем корить Тендрякова за то, *чего нет* в рассказе о военных мытарствах Матёрина. Ибо, если следовать логике вышеизложенного соображения, можно до чего угодно договориться: пожелать, например, чтобы главный герой попал-таки в штрафной батальон и поведал нам об ощущениях штрафника, зажато́го между двух линий огня, чужой и своей, нацеленной в спину,— ведь об этом нам никто еще из писателей не рассказал — белое пятно!

Мы должны помнить, что на «военных» страницах «Свидания с Нефертити», рассказывая о Матёрине, Тендряков пишет о *своем* пути по дорогам войны. И на этом пути повстречался ему в трудную минуту не кто-нибудь, а именно такой вот Сергеев. И не завернул путь Матёрина в штрафной батальон, потому что по счастливой случайности не попал в него сам Тендряков.

Когда эти страницы о боевом пути Тендрякова были еще не написаны, я прикидывал, что же лучше: пересказать этот путь со слов самого писателя или же с того, что он об этом пути написал? После долгих взвешиваний «за» и «против» я так и не сумел привалить ни к одному из берегов и решил отдаться на волю течения: куда понесет, туда и плыть буду. То об один берег потрусь, то о другой. С критическим компасом, сработанным для общего пользования, в случае с Тендряковым того и гляди начнешь пускать пузыри. Тендряков противопоставлен стандарту. Более того, взрывоопасен, если вздумаешь уложить рассказ о его пути в литературу в обычную схему.

Уговорив себя таким образом, я стал писать как бы о Матёрине, но ни на минуту не забывал, что рассказывал мне о своих ощущениях войны сам Тендряков. Он рассказывал о себе, но за этим рассказом о себе вставали сотни и тысячи таких же, как он, бедолаг прошедшей войны, которые жизнью своей, кровью и унижением расплачивались в первые месяцы войны за романтические иллюзии.

Усилиями литературы, которую создавали бывшие воины переднего края, с войны соскребался некий освет-

ляющий ее глянец. Война — это прежде всего трагедия. Всех и каждого. Это неисчислимые жертвы, кровь, страдания, боль, пепел и грязь, а уже потом — героические поступки и доблестные дела, которые опять-таки не из упоения высокой романтикой совершались ежедневно и ежечасно, а из жестокой необходимости. Те, кто сам когда-то прошел через мясорубку боев и сражений, только такой войну видел, только такой ее помнил. О такой и написал.

И Тендряков не мог быть здесь исключением.

5

Без знания еще нескольких фактов дописательской биографии Тендрякова у читателя может сложиться мнение, будто писателем он стал как в сказке: еще вчера безнадежно топтался со своими выдумками о войне перед наглухо заколоченными дверями в литературу, а наутро легкой походкой пошел сквозь те же, но теперь настезь раскрытые перед ним двери.

Конечно, все было не так. И не только на «военных дорогах» искал Тендряков, так сказать, литературное счастье. Его сокурсники, многие из которых тоже пришли в институт с войны — Г. Бакланов, Ю. Бондарев, Е. Винокуров, М. Годенко, В. Гончаров, В. Солоухин, С. Шуртков и другие, — пробовали свои возможности в самой разнообразной тематике, и Тендряков тоже пробовал. Еще в пионерском возрасте зачитывался он Циолковским, думал о космосе, прикидывал, как должен чувствовать себя человек, вырвавшийся из притяжения Земли, и вот как-то раз выложил свою литературно-космическую «программу» на творческом семинаре.

Семинар вел К. А. Федин. Сам уже долгие годы пребывая вне критики и потому, вероятно, забывший, как это больно для самолюбия, когда тобою задуманное и выстраданное становится предметом безжалостного разноса, он всячески поддерживал и поощрял в своих учениках дух взаимного критиканства, видимо считая, что это полезно, что в такой атмосфере у будущих писателей и шкуры быстрее задубеют, и зубы отточатся. Кому-то, вполне возможно, подобная метода воспитания приходилась по вкусу и в дальнейшем сослужила хорошую службу, но Тендряков не стерпел уже первого обсуждения. Когда страницы его фантастики с веселой злостью были превращены его това-

рищами-семинаристами в негодный мусор, а Федин, ни словом, ни взглядом не остановив очередного хулителя, ни словом, ни взглядом не выразив своего сочувствия избиваемому автору, лишь улыбался, Тендряков хлопнул дверью.

Как-то один писатель (кстати, очень хороший) сказал мне так: «Друзья, которые ищут в моих вещах прежде всего недостатки и торопятся, как бы из самых лучших, дружеских побуждений, вывалить их на мою голову, — для меня не друзья. Они мешают мне быть таким, каков я есть, я теряю в себе уверенность, нервничаю, боюсь каждой новой строки; словом, чувствую себя бездарью — хоть в дворники уходи. Я от таких «друзей» избавляюсь, кончаю с ними».

Что-то похожее, вероятно, мог бы сказать о себе Тендряков. Но я его об этом не спрашивал, потому что и без прямого вопроса ответ был ясен: он вытекал хотя бы уже из того, что Тендряков, покинув фединский семинар, ушел к Паустовскому.

Семинар Константина Георгиевича Паустовского сложился в Литинституте как раз спокойной, доброжелательной обстановкой. Никто там никого не обижал, не кусал, а если и случалось, что кто-то вдруг обнажал в запале свои молодые зубы, руководитель тут же вставал на защиту того, над кем нависала опасность. «Как вы смеете! Как вы можете!» — корил Паустовский и брался за дело сам: так разбирал обруганный прозаический опыт студента, что на первый план выходили достоинства написанного, а промахи и огрехи выглядели вполне исправимыми, не заслуживающими тех резких суждений, которые только что были высказаны.

Что ж, наверно, преподавательский метод Паустовского тоже был хорош не для всех. Но для Тендрякова он был в буквальном смысле спасением. Ему нужна была доброта, дружеская поддержка. Он жаждал к себе внимания — чтобы его слушали, старались понять, помогли разобраться, кто же он есть и на что способен. Он чувствовал в себе силу, она распирала его, но он не знал, куда ее лучше бросить, где тот участок жизни и литературы, который никому не под стать «обработать» так, как это сумеет он, Тендряков. А в том, что такой участок должен существовать, что он существует, сомнений не было.

И вот он пришел к Паустовскому. И в деловой, дружеской атмосфере его семинаров как бы пришел в себя.

Вспомнил, откуда и из кого он родом, какую жизнь сызмальства видел и чем занимался до переезда в Москву. И странным ему показалось, что, кидаясь в разные стороны — в войну, в фантастику, даже в сказку (да, да, и сказки писал — вернейший, на мой взгляд, признак, что не знал, куда девать свою силу!), — он словно забыл о своем Подосиновце, о трудах и заботах районщиков, жизнь которых была известна ему до мелочей.

И он одним махом забросил все ранее начатое, недописанное, недодуманное и с головой ушел в проблемы послевоенной деревни... Не за горами диплом. Эта повесть и должна стать его дипломной работой.

Страницы множились, как грибы после хорошего ливня. Непривычное чувство, что на сей раз все без обмана, что он наконец отыскал и «обрабатывает» истинно *свой* участок, возбуждало все большую и большую скорость письма. И наступил момент, когда он вдруг испугался: до последней точки было еще далеко, а количество страниц уже готово было перевалить через седьмую сотню. Что делать? Как быть с этим не по дням — по часам все возрастающим ворохом почти без поправок исписанной бумаги?

А Паустовский его наставником уже не был. В институте организовали еще один творческий семинар, руководить которым был привлечен В. П. Катаев, и — с миру по нитке — из уже сложившихся семинаров несколько студентов были собраны в этот новый, катаевский. Тендряков попал в их число. Но именно только *числился* у Катаева. Занятий не посещал. В знак протеста. Нет, он ничего конечно же не имел против Катаева. Но его взяли от Паустовского, не спросив, хочет он того или нет. Такое отношение со стороны администрации он посчитал для себя оскорбительным и вот теперь пребывал, так сказать, в состоянии гордой самоизоляции. Ходил в ничьих.

Бог ведает, чем бы все это кончилось. Наверно, строптивому студенту грозила суровая кара. Но в это время в Москве открывалось I Совещание молодых писателей, Тендряков с удивлением обнаружил свою фамилию в списке студентов, которые выдвигались институтом для участия в нем, и еще более удивился, когда узнал, что на его выдвижении настоял сам Катаев. Такого великодушия (ведь Катаев — конечно же! — имел все основания на него обижаться) Тендряков не снес. И уже ближайшее занятие катаевского семинара было озаглавлено его добровольным и — добавим — благодарным присутствием.

Катаев — как руководитель семинара — и стал первым читателем повести Тендрякова, первым критиком ее и редактором. К моменту защиты многое из того, что оказалось лишним и необязательным в повести, было «отстрижено», повесть обрела вполне пристойный размер, соответствующий той смысловой нагрузке, что в ней заключалась, и, когда диплом благополучно прошел защиту, дипломированный теперь уже писатель В. Ф. Тендряков отнес свою повесть в журнал «Новый мир».

Тут надо сказать, что в «Новый мир» Тендряков отнес ее не случайно. Он уже не раз заходил в редакцию журнала. Его и Владимира Солоухина как-то привел туда Юрий Трифонов, тоже литинститутовец, только курсом ниже. Он подрабатывал здесь — рецензировал самотек. Тем же занялись вскоре — на стипендию-то не прожить! — и Тендряков с Солоухиным. Рецензировали, получали свои гроши и постепенно перезнакомились с сотрудниками журнала, можно сказать, прижились. И вот теперь Тендряков принес повесть. Не с улицы человек. Потому обещали прочитать как можно быстрее.

Чтение-хождение рукописи по редакционным инстанциям — даже при заведомом благоволении к автору — процедура длинная, затяжная. Хорошо, если все обернется месяца за два, за три. А если растянется на полгода? А если на год? Ведь и так может быть. А на какие, простите, шиши все это время жить-поживать?

Тендряков пошел в «Огонек». Он очень хотел работать корреспондентом. Разъезжать по стране, глядеть, как живут люди, слушать, что они говорят, узнавать, какие у них заботы, что помогает, а что мешает их жизни. И обо всем этом писать.

Штатного места в «Огоньке» не было, но командировки ему давали во все концы. Потому что поняли по первой же его корреспонденции: писать выпускник Литинститута может. Словом, Тендряков пришелся журналу.

А вот журнал ему — нет. Самое для автора дорогое, самое для общего дела ценное, из-за чего, в сущности, и писался очередной материал, летело в корзину. По своей специфике журнал «Огонек» рекламный, можно даже сказать — парадный, трудные жизненные проблемы — редкие гости на его страницах, а Тендряков как раз и был начинен проблемами. Каждая его вылазка за черту Москвы давала пищу для не очень-то веселых раздумий о жизни людей, в гуще которых прошли его домосковские годы.

Колеса по проселкам, вникая в дела колхозов и проникаясь ими, он ощущал, как возвращается в него чувство сопричастной ответственности за все, что происходит в дорогой его сердцу деревенской России. Он и раньше знал ее боли, но как облегчить их, как справиться с ними, не знал. Теперь он корреспондент, работник печати. В его руках надежный инструмент помощи людям: слово. Но именно *слово* выколупывается из его очерков, а читателю остается лишь обертка его, словесная шелуха.

Да, трудное вышло у Тендрякова начало на журналистском поприще. И будь он послабже, кто знает, может, и примирился бы, приспособился к специфике, стал бы писать по узаконенному трафарету — от сих до сих. Глядишь — и осуществилась бы его молодая мечта: взяли бы в штат.

Но Тендряков не примирился. Все вырезанное и срезанное редакторскими ножницами не выбрасывал. И из этого вырезанного и срезанного что-то такое мастерил в перерывах между командировками. Как бы для себя самого. Как бы в никуда... Собранный материал должен быть обработан и выписан. Тогда не пропадет. Этому правилу его еще в институте учили.

А еще его учили — уже в «Новом мире» — не забывать, что ты не единственный автор в журнале, что желающих напечататься много, а потому, если не будешь о себе напоминать, тебя могут забыть. И вот, в очередной раз напомнив о себе в «Новом мире», Тендряков узнал, что его повесть-диплом все инстанции прошла на «ура», осталась последняя: главный редактор, Твардовский. Ему даже аванс выплатили. Настолько были уверены, что Александру Трифоновичу повесть понравится.

Тендряков ходил счастливый и гордый. Прикидывал, сколько он будет иметь, когда повесть опубликуют. Цифра получалась такая, что полгода в «Огоньке» можно будет не появляться. Полгода! Да за полгода свободной жизни он себе свободу от «обязаловки» на всю жизнь зарабатывает. Какая же это, наверно, великая радость — писать до упора, на всю катушку, и, не боясь, что, не напечатав, тебя тем самым шибанут по карману, стоять насмерть: ни одного слова редактору не отдавать!

Мечты, мечты...

Повесть Твардовскому не понравилась. Позвав Тендрякова к себе, он не счел нужным пускаться в долгие объяснения — отчего да почему. Сказал, как отрезал:

— Лакировка.

Тендряков — и... лакировка! Найдутся ли еще в нашей литературной жизни последних десятилетий понятия, столь же несовместимые, столь же резко и неотвратно исключаящие друг друга? Ведь вот что мы знаем сегодня как дважды два: именно в борьбе с лакировкой — как бы отталкиваясь от нее, — в жестокой полемике с теорией и практикой «бесконфликтной литературы» и сформировался Тендряков как писатель. Не будь в годы его литературного созревания той злополучной «теории и практики» — кто знает? — может, и не вышло бы из него ничего. И вдруг: Тендряков — лакировщик! В голове не укладывается...

Зададим вопрос: был ли Валентин Овечкин тем самым примером-толчком, что встряхнул нашу литературную жизнь, воодушевил и поднял в атаку других и многих, которые, как и он, тоже все видели и все понимали, но по разным причинам не взяли на себя ведущую роль? Да, пример Овечкина был. Недаром пошедших за ним стали называть писателями «овечкинской школы». И все же дело тут не в Овечкине. Не будь его — был бы другой. Может быть, Троепольский. А может быть, Тендряков. Тот, кто хочет видеть, тот видит. *В зрячих* писателях Россия никогда не испытывала недостатка. Дефицит всегда ощущался в других — в *смелых*. Но практика литературы, да и всей жизни обнадеживающе напоминала, что, когда некуда отступить, смелые всегда находились. Должны они были найтись и теперь, их ожидали с часу на час, и вопрос состоял лишь в том, когда этот час пробьет.

И вот этот час пробил. Первое смелое слово было сказано о деревне. Это никоим образом нельзя расценивать как случайность. Перед деревней у литературы были не только неоплаченные долги, но и вина.

Война принесла деревне неисчислимы беды: было разорено и разграблено более ста тысяч колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций, и на каждые два-три двора (когда уже вернулись домой фронтовики) приходился в среднем лишь один трудоспособный мужчина. Деревня дышала на ладан, а пятилетний план 1947 — 1952 гг. требовал не только полностью восстановить народное хозяйство, но и значительно повысить государственные поставки по сравнению с довоенным уровнем. Сделать это деревня, естественно, не могла, план не выполнялся (он так и не был выполнен), и это еще

более ужесточало политику в отношении и без того перенапрягшегося ее организма. Спускаемые сверху далекие от реальных возможностей непомерные требования неизбежно влекли за собой грубый нажим на местах. Руководители областей и районов пускались во все тяжкие, дабы любым путем, при помощи любых методов вытянуть из колхозов все до последнего зернышка... и отчитаться.

Так вот и жили: хлеб, овощи, мясо и молоко отдавали городу, в котором уже на первом году пятилетки были отменены карточки, а взамен получали палочки-трудодни, «вес» каковых — в среднем по стране — оставался едва ли не тем, что в годы войны. В среднем — это значит, что были районы, где люди, попросту говоря, голодали, где стрелка жизненного уровня была на нуле.

На нуле, на том же голодном жизненном уровне, находилось и большинство писаний о деревне. Точнее говоря, они были ниже нуля, эти писания. Потому что нуль — это нуль, пустое место, ничто. От нуля нет прока, но как бы нет и вреда. А тут — был. Преднамеренно закрывая глаза на то, что не хочется видеть, обдуманно исправляя, высветляя до неузнаваемости живую действительность, авторы подобных писаний наносили жестокий вред не только авторитету литературы и привыкшему доверять ее слову читателю, но прежде всего — самой деревне.

Это была вина. Очевидная и безусловная. Не беда слепых, а вина зрячих, умышленно выдававших неоспоримый недуг за неоспоримое здоровье.

В медицине подобное дело подсудно. В литературе за это, случается, отмечают премиями. С этого момента вина немногих становится виной всех. Потому что, персонально выделяя кого-то, выделяют и одобряют не столько этих кого-то, сколько тенденцию в литературе, саму литературу, общее состояние которой в конечном итоге и обусловило выделение среди прочих именно этой тенденции.

Свалить все грехи на считанные головы лакировщиков просто. Много трудней посчитать и себя, вроде бы к ним непричастного, причастным к распространяемой литературным путем заведомой лжи. Смелость писателей «овечкинской школы» была смелостью людей, первыми взявших на свои плечи тяжесть общей вины литературы. Лите-

ратура отступала, сдавала позицию за позицией. Чтобы остановиться и собрать силы для перехода в наступление, прежде всего необходимо организовать разведку, разведывательный поиск. Разведчиком в литературе, как известно, является очерк. Не буду повторять, переписывать на свой лад все то, что уже давно написано об очерке, — «разведчике», «первопроходце», «геологе», открывателе новых земель и пластов, которые идущие вслед за очерком повести и романы должны освоить и сделать предметом *высокой* литературы. Ничего нового здесь не скажешь. Скажу только вот что. Очерк, с которым вышли в начале 50-х годов на передний край нашей литературы Овечкин и его единомышленники, при том что он выполнял обычные для себя обязанности разведчика, был еще очерком-обличителем. Он осуждал сложившиеся и укоренившиеся методы руководства людьми и хозяйством, требовал устранять «борзовщину» и другие подобные ей явления, призывал к необходимым и быстрее оргвыводам. Откуда взялась «борзовщина», каковы причины ее повсеместного властвования, этот очерк не объяснял. Он указывал только на следствие. Ставил перед собой чисто практическую задачу дня: обрисовать нетерпимость создавшегося положения. Разговор же о причинах происходящего как бы откладывался на потом, оставлялся на долю прозы, которая, опираясь на данные разведки, должна была выйти к исходному рубежу и нанести на карту стрелы будущих рейдов...

Рейд, нетерпеливо предпринятый Тендряковым в его повести-дипломе, проходил одновременно с «разведкой» Овечкина. Может, Тендряков поспешил? А может, к самому себе, к тому, каким мы привыкли его представлять, он шел, отталкиваясь не только от чужих, «несъедобных» для него писаний, но и от *своих*, в какой-то момент вдруг осознанных им как чуждых его преобразованному взгляду на назначение литературы? Ведь те самые «военные неудачи» Тендрякова потому и стали в конечном итоге неудачами, что неопытный автор больше, чем следует, поглядывал по сторонам, смотрел, как пишут другие. Так, может быть, свою повесть-диплом Тендряков тоже с оглядкой еще писал? На то, что поощрялось, поднималось на щит?

И, может, прав был Твардовский?

Словом, настало время прикоснуться к тексту первой опубликованной повести Тендрякова. Отвергнутая Твар-

довским, она увидела свет в альманахе «Год XXXVI» под названием «Среди лесов».

Эту повесть Тендряков вспоминать не любил. Он считал ее литературным упражнением, пробой пера, поиском пути — и не больше. Но ведь она напечатана. Значит, литературный факт. Не открестишься.

И не надо. При всем том, что в ней еще недостаточно выверены и крепки каркасы художественной логики — а именно железная логика станет одним из первых признаков, выделяющих писательскую статью Тендрякова, — «Среди лесов» — это все-таки уже Тендряков. Он много уже умеет, многое может. Может возбудить острый конфликт, столкнуть лбами характеры, взгляды, идеи, умеет сплести, переплести выхваченные из глубины жизни проблемы и из множества их в нужный момент высветить главную, ту, что именно сегодня, сейчас необходимо решать.

«Среди лесов» — это маленькие деревушки среди лесов, каждая из которых — самостоятельное хозяйство, но это только название — «хозяйство»: колхозики жалкие, нищенствуют, голодают. Указания о присоединении малых, слабых хозяйств к большим, твердо стоящим на ногах, поступают сверху, но мысль об укрупнении колхозов родилась внизу, сама жизнь заставила ее выбиться к свету. И вот при общем, встречном, казалось бы, устремлении снизу и сверху быстрейшим образом решить эту задачу герои повести тем не менее разобщены. Единого понимания, как соединить, так сказать, теорию с практикой, у них нет.

Из многих и многих героев повести выделяются две фигуры: первый секретарь райкома Паникратов и вернувшийся в родные места прошедший войну офицер-политработник Роднев, которого Паникратов берет на работу в райком. Как бы на свою голову: вскоре в их взглядах на руководство людьми и хозяйством обнаруживаются непримиримые расхождения.

Во время войны район, возглавляемый Паникратовым, был лучшим из лучших. Паникратов умел нажать, выжать все из колхозных амбаров — до последнего зернышка. И старики, женщины, дети, хоть с голоду пухли, не роптали, не обижались. Все для фронта, все для победы. Кто этого не понимал? И вот уже пятый год люди живут в мирном времени, а Паникратов будто остался там, в годах войны. По-прежнему приказы, оргвыводы, нянь-

ки-уполномоченные за спиной у каждого председателя: давай, давай! Люди устали, озлобились, трудовые показатели резко сползают вниз, а Паникратов давит и давит: план, план, план. Ни видеть ничего не хочет, ни слышать.

Никто не сомневается: секретарь райкома хочет вывести район из прорыва. Но как это делается? А вот как: за счет интересов тех, кто непосредственно работает на земле, за счет передовых колхозов, которые — пускай и в ущерб своему развитию — обязаны давать сверхплановую продукцию, коль скоро малые хозяйства не тянут. Паникратов живет сегодняшним днем, о завтрашнем дне не думает. Ему бы сегодня — неважно каким путем! — отчитаться перед обкомом. Сегодня бы выжить. Какие уж там присоединения и укрупнения колхозов! Не до них Паникратову.

И вот Роднев вступает в борьбу с Паникратовым. Но нет, не с Паникратовым все же, хотя этот человек, его самодовольная грубость, а порой и откровенное хамство и произвол по отношению к людям бывшему военному политработнику глубоко неприятны. Роднев вступает в борьбу со *стилем работы*, который насадил и привил Паникратов в районе.

Вся повесть, по сути дела, и есть эта борьба. Не забывая о сегодняшних нуждах, Роднев сражается за завтрашний день своих земляков. За то, чтобы колхозы стали богатыми и сами колхозники почувствовали бы себя людьми, а не винтиками в механизме района.

Вопрос: а не схож ли конфликт, возникший у Роднева с Паникратовым, с тем, что встало между Мартыновым и Борзовым в очерках Овечкина?

Все очень похоже. Столкнулась дальновидная мысль с мыслью короткой, государственный подход к делу — с узкоэгоистическим, ведущим в конечном итоге к еще большему обеднению и разорению деревни.

Но если это так, то при чем же здесь — по Твардовскому — лакировка?

Твардовский только что напечатал «Районные будни». Он очень гордился этой публикацией и все поступавшее вновь в редакционный портфель, видимо, волей-неволей мерил очерковой повестью Овечкина. Овечкин и Тендряков практически одновременно, т. е. независимо друг от друга, подметили одно и то же явление жизни. Но у Овечкина и писательского опыта было больше, и гражданская его ярость, обращенная к руководителям борзов-

ского склада, — не в пример Тендрякову, писавшему свою повесть-диплом с вполне понятной студенческой сдержанностью, — была обнажена до стона, до горьких слез, которыми умывалась задавленная борзовыми русская деревня. Ярость-то яростью, но, перенеся на бумагу острейший социально-политический конфликт, Овечкин не стал спешить с его разрешением. Не наказал Борзова и его подпевал. Ибо в реальной жизни до наказания было далеко. Да и будет ли «борзовщина» наказана вообще? Он верил, что будет. Но опережать события, опережать время, выдавая желаемое за действительное, не стал. Он написал то, что видел и знал. Придумывать «счастливый конец» не захотел.

А Тендряков придумал. Наказал Паникратова. И даже больше: на последних страницах повести сделал его чуть ли не сторонником Роднева... Потому-то Твардовский и сказал ему: лакировка. Потому-то и не любил вспоминать «Среди лесов» непримиримый к себе Тендряков.

Но это позже. А тогда, когда Твардовский заклеил его повесть, посрамленный и разобиженный Тендряков покидал «Новый мир» и с великой тоской представлял свою дальнейшую жизнь: командировки за «положительным» материалом для «Огонька», стычки с редакторами и глухое безденежье. Единственная надежда на то, что он кроит и сшивает из огоньковских обрезков, из тех страниц и абзацев, что выбрасываются в корзину.

Но где гарантия, что Твардовский снова не укажет ему на дверь?

Не указал. Осенью 1953 года «Новый мир» опубликовал «Падение Ивана Чупрова», а несколько месяцев спустя — «Ненастье» и «Не ко двору».

В советской литературе появилось новое имя: Владимир Тендряков.

ВСТРЕЧИ В ПАХРЕ

Я всегда его очень любил. Сначала заочно — он был из немногих *моих* писателей. Потом, когда познакомились, я влюбился в него окончательно. С первой же встречи понял, что он такой же, какой в своих книгах. Ни малейшего раздвоения. А это бывает не часто.

То, что он оказался таким, было для меня и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что я как бы давно его уже знал: не нужно было опасаться уж чересчур резких неожи-

данностей с его стороны. Плохо потому, что я опять-таки знал: он откровенен и непримирим, когда ему что-то или кто-то не нравится, и надо пристально следить за своим поведением, за тем, что и как говорю. А мне — что скрывать? — понравиться ему хотелось. Издана была его книга с моим предисловием, он меня пригласил, а я все не шел и не шел (всегда старался уйти от знакомства с теми, о ком писал, боясь разочароваться), и вот наконец пришел, понял, что Тендряков не только писатель, но и человек мне близкий, и тут занервничал: он в моих глазах слился, а со мной как будет — в его глазах?

Ох, сколько же в нас с годами всякого добра набирается! Чуть что — уже комплексуем. Но так ли уж это худо — для самого себя, для того, кто, так сказать, комплексует рядом с тобой? Наверное, нет. Ведь, в сущности, так и должно быть между людьми. Иначе — деревянные мы, куклы бездушные.

Словом, первый вечер в Пахре был для меня в некотором роде пыткой... Кто я? Откуда? Каковы мои вкусы и симпатии в литературе? И вообще взгляды какие, цели, во что верю, а во что нет?

Он все хотел знать. Время от времени он как бы заносил руку, чтобы выписать мне допуск к своей душе, но так и держал ее занесенной: не все мои ответы его удовлетворяли. Неудовлетворенный в очередной раз, он вскакивал из-за стола, в два шага оказывался передо мной и — руки в карманы, ноги на ширину плеч, раскачиваясь — произносил раздраженно-сбивчивый монолог, имевший целью оспорить и развенчать очередную высказанную мной «ересь».

Потом было испытание чтением вслух. С непривычки тоже дело нелегкое. У Тендрякова ведь нет коротких вещей, самое малое — страниц семьдесят — сто. Это испытание я выдержал с честью. Впрочем, заслуга здесь не столько моя, сколько самого Тендрякова: во-первых, он прекрасно читал — напористо, горячо, когда шел авторский текст, искусно модулируя голосом, когда передавал диалог; во-вторых, он читал самое для себя дорогое, самое сокровенное, и тут невозможно было рассеяться, а уж тем более заклевать носом — слушать было исключительно интересно (позже это чтение вслух стало у нас, что называется, ритуальным: сначала работа, разговоры о том о сем, а на закуску — чтение).

Поздно вечером Тендряков провожал меня на автобус. Дорога от писательского городка до Внуковского шоссе не очень длинная, но и не очень короткая. Он рассказывал что-то дерзко-веселое, и по тому, как всякий раз еще более оживлялся, если я вставлял по ходу его рассказа какую-нибудь впопад реплику, по тому, как все чаще и увереннее переходил с «вы» на «ты», я чувствовал, что вроде пришелся ему по душе...

Сейчас я ужасно жалею, что на протяжении наших долгих и доверительных встреч, когда записывалась его биография (это нужно было для дела), я не записывал ничего из того, что к этому делу не относилось. Нет, конечно же общий пафос его темпераментных «выступлений» на тему «литература и жизнь» — во мне, он не забудется, не сотрется, но вот деталей — слов, выражений — не помню. Разве мог я подумать, что когда-то придется писать нечто подобное воспоминаниям о Тендрякове? Я его младше, но он, мне казалось, куда как здоровее меня. К тому же — в отличие от многих других, кто на сидячей работе, — за своей физической формой следил. Режимил.

Где-то в середине семидесятых врачам не понравилось его сердце. Он стал бегать. Каждое утро — до завтрака — не менее десяти километров. Не останавливали ни мороз, ни дождь, ни грязь под ногами. Надо так надо. Но надо было не только приучить себя бегать, но и отучиться курить. Вот где была проблема! Курил он давно и помногу и в одночасье расстаться с этой сладкой привычкой не мог. Да и врачи не советовали. Когда я впервые у него появился, дневная норма была доведена уже до четырех сигарет. Он курил их вразяжку: два-три глотка — и притушивал. Говорил, слушал, вертел окурочек в руке, бережно опускал на край пепельницы, вставал, ходил, то и дело кидая вожделенные взгляды на стол, вдруг резко присаживался и, еще не присев, хватался за спички, чиркал, неуловимо окурочек оказывался во рту, но в ту же секунду снова был в пепельнице, а спичка задута. Терпеть!

Видеть, как он страдает, было невмоготу. Тем более что и сам я страдал. Курильщик с тридцатилетним стажем, я хорошо знал, что никотинный голод не идет ни в какое сравнение с тем, когда пусто в желудке.

— А ты что не куришь? — пододвигал он пачку. — Кури, че стесняйся. Это мне не мешает.

Он волю свою терзал. Подозреваю, что он вообще придумывал себе всяческие терзания, осознанно и намеренно подставляя себя под что-нибудь ему неудобное, трудное, ненужное, чего вполне можно было избежать, но подставлял, чтобы еще и еще раз преодолеть в своем характере то, что не укладывалось в его представлении, каким должен быть в собственных, да и в чужих глазах он, Тендряков. С каждой встречей я все более убеждался, что по натуре он исключительно мягок, заботлив, добр и предупредителен по отношению к тем, кто его окружает, но, видимо, именно этих своих замечательных черт он стеснялся, вернее — пытался спрятать поглубже, не показать, считая, что ему как писателю, сурово вззирающему на современность, надо и вести себя, выглядеть так же: сурово.

Нет, он не был — в общепринятом смысле — волевым человеком. Во всяком случае, таковым не родился. И вот он насиловал себя, заставлял делать так, поступать так, как делал и поступал бы кто-то другой, с рождения обладавший завидными для него качествами. Эта непрекращающаяся внутренняя борьба, стремление задавить в себе неудобное, выпятив то, что угодно его гордости и самолюбию, в какие-то моменты, наверное, столь истощали и без того перенапряженную нервную систему, что он не выдерживал и срывался. В разговорах со мной Тендряков по разным поводам вспоминал то того, то другого из бывших своих друзей и товарищей, и, я думаю, разругивался, расплевывался с ними он именно тогда, в те часы и минуты, когда подступал очередной пик перенапряжения в той самой борьбе, что вел он с самим собой.

Впрочем, возможно, я ошибаюсь. И в каждом отдельном случае ссоры или разрыва с очередным из братьев-писателей причина была своя и не зависела от его нервного самочувствия. Тендряков был максималист не только в своих литературных суждениях, литературных мечтаниях, но и в своем отношении к людям, которые, как и он, посвятили себя литературе. К моменту нашего знакомства он, в сущности, был одинок в густонаселенном писательском мире. Можно даже сказать, что он с этим миром сознательно избегал каких бы то ни было внешних сношений. Встретить его на каком-нибудь совещании, на собрании, не говоря уже о ресторане ЦДЛ (где кого только не встретишь!), было попросту невоз-

можно. Он вообще очень редко, лишь по крайней необходимости покидал Пахру.

— Самый страшный наш враг — суета,— слышал я от него не раз.

Суетой в его представлении было все, что не подчинено работе, сидению за столом. Писатель должен писать — это известно. Но ведь и отдыхать должен. А вот этого-то Тендряков не умел. И больше того — не хотел. Не хотел отвлекаться от того, что более всего на свете любил,— от работы, которая не была для него, как для многих пишущих, тяжким бременем, а великим счастьем была, ибо может ли быть у человека иное счастье, чем то, когда он угадал свое дело на земле, когда призвание обратилось в профессию. Потому-то он и избегал всего, что может помешать, может прервать его счастье — работу.

Как-то я увидел у него шахматы и предложил сыграть. В его глазах молнией промелькнула страсть отчаянного игрока:

— Давай! — Но тут же: — Нет, мне нельзя. Проиграю, а потом полночи не буду спать. А завтра — работа.

Не раз и не два я его спрашивал: читал ли он ту или иную о нем статью, рецензию на ту или иную его повесть?

Не читал. И даже фамилии критиков, которые о нем неоднократно писали, не были ему знакомы. Помню, я как-то назвал Игоря Золотусского, сказал, что у него есть прекрасно написанная статья, где он пробует добраться до его, Тендрякова, писательской сути.

— Умная статья? — желая скрыть интерес, подпустил он к глазам туман равнодушия.

Я заговорил о Золотусском. О том, что взгляды его можно принимать и не принимать, но читать его всегда в высшей степени любопытно. Что у него ни на кого не похожий, свой почерк в литературе. И мысли пусть спорные, но свои. А как же иначе должно быть в критике? Критика — это спор. С отживающими в литературе и в жизни устоями. С противодумающей критикой. Наконец, с писателями, о которых берется критик писать. То же, мол, и в этой статье. Золотусский спорит...

Здесь мое красноречие было приостановлено. Не помню, о чем, но о чем-то, совершенно не относящемся к моему «монологу», заговорил Тендряков, дав тем самым понять, что дальше слушать не хочет. И тут я осознал свою непреднамеренную бестактность. Однажды он мне

рассказывал, как после выхода «Свидания с Нефертити» появилась среди других рецензия, прочитав которую он долго не мог спокойно работать. С тех пор, в общем-то, и перестал читать о себе, опасаясь нарваться на какого-нибудь «спорщика», чьи «вумные мысли» снова вышибут его из рабочего состояния.

— Вы меня ставите в труднейшее положение, — сказал я тогда. — Вот мы сидим, мило беседуем, но я ни на минуту не забываю, что наступит день, когда сяду писать. А как же я буду писать, если знаю, что вы так болезненно реагируете на всякие с вами «споры»?

Он рассмеялся:

— А ты пиши, как предисловие написал. Вот и не буду «болезненно реагировать».

Вроде шутил. А в глазах была грусть: и ты туда же? Я стал говорить: мол, предисловие — жанр рекламный, как бы зазывающий, уговаривающий читателя прочитать книгу, но ведь то, что я собираюсь писать теперь, совершенно иное...

— Ладно, — остановил он меня, — пиши как знаешь. Я разрешаю: крой.

Тут надо сказать, что, обижаясь, когда его кто-то критиковал, сам себя Тендряков мог «крыть» почему зря.

— «Чудотворная»? — отмахивался недовольно. — Это — по молодости лет. Сгоряча написал. В лоб... Ты «Апостольскую командировку» читал? А «Затмение»? Это я отпущение грехов вымаливаю. За «Чудотворную». Когда молодой, все просто: тут — свет, а тут — тьма...

... — А знаешь, почему в «Тугом узле» как раз и не получилось тугого узла? Потому что вместо романа нужно было статью написать...

... — «Весенние перевертыши» — это пустяк. Такие повести я в перерыве между работой пишу. Для денег. Для того, чтобы о деньгах не думать, когда занимаюсь серьезным делом. И вот что обидно: именно такие вот голубенькие скороспелки вырывают из рук, печатают и перепечатывают, снимают в кино, инсценируют в театре. А вот «Кончину» несколько лет не мог опубликовать. До ЦК доходил...

«Кончину», пожалуй, он любил больше остальных своих повестей и романов. Гордился, что ее написал. Но, как мне кажется, еще более тем гордился, что заставил ее напечатать. Пробыл.

С трудом представляю, как это ему удалось. Потому

что при всей кажущейся своей энергичности он не был пробивным человеком. Хитрить не умел, ходить по инстанциям, просить, унижаться — тем более. В его собрании сочинений явно не хватает пятого тома, в который на равных правах с повестями и романами, напечатанными в четырех томах, обязаны были войти «Затмение», «Расплата», «Шестьдесят свечей». Я спросил, как же он мог допустить такую явную по отношению к себе несправедливость? Он скорчил гримасу: что-то кому-то доказывать, объяснять, тратить время и нервы — себе дороже.

Приезжая в Пахру, я не раз был свидетелем телефонных разговоров Тендрякова с редакциями. Сам не звонил — звонили ему. Помню звонок, когда одно из издательств просило его согласия включить в книгу, которую само же — без его ведома — запланировало, такие-то и такие-то из его повестей. Другой бы на его месте обрадовался. Какая разница, что именно хотят переиздавать? Он об этой книге не мечтал и не думал, над заявкой в издательство не корпел, и вообще книга сама в руки идет. С неба свалилась. Подарок. Скажи спасибо и приготовься получить деньги. Но Тендряков не спешил благодарить. Уж коль книга *его*, то он ведь имеет право вместо издательского свой состав предложить? Что? Не устраивает? В таком случае будьте здоровы. До лучших времен.

Наверное, кто-то делает здесь остановку: да он просто несносный человек, неуживчивый, вздорный...

А я любовался им в эти минуты!

Хорошо помню, что почти каждый наш разговор, о чем бы он ни был, Тендряков сворачивал на этих самых «хозяйственников», что не по праву хозяйничают не только в литературной, но и в иных сферах нашей непростой жизни. И каждый раз — признаюсь — я за него пугался: столь сильны были приступы его ненависти, когда заходила речь о чинушах, превыше всего страдающих за свои кресла, о непрофессионалах, распоряжающихся судьбами специалистов своего дела, о всякого рода перестраховщиках, зажимщиках новых идей и новых инициатив. В наши дни, когда равнодушие и цинизм по отношению к общим заботам стали привычными спутниками многих и многих, Тендряков — со своей воистину «несовременной» отдачей всех помыслов и пристрастий именно этим общим заботам — кому-то, наверное, представляется чуть ли не ископаемым чудищем, неведомым образом попавшим в совре-

менную жизнь из допотопных человеческих пластов. Я сказал «наверное», но тут же сам себя поправляю — *конечно*, потому что знаю людей, считающих феномен Тендрякова некоей социально-литературной окаменелостью, отжившей писательской породой, анахронизмом.

Какая злая неправда!

Я бывал с ним на встречах с читателями. И всегда чувствовал: как он, оказывается, необходим людям! Он не был, что называется, первоклассным оратором, эстрадными ухищрениями, при помощи которых иные держат в напряжении публику, не владел. Но пришедшим «на Тендрякова» и не нужен был эстрадный искусник. В разные годы книги его объясняли, а некоторые из них и итожили прожитые сидящими в зале периоды жизни и времени, и людям хотелось именно от Тендрякова узнать, что думает он о быстробегущем сегодняшнем дне, каков, на его взгляд, этот день и куда ведет-приведет. Слушая Тендрякова, ощущая напряженно-единодушное внимание к его слову многочисленной и разновозрастной аудитории, я всякий раз очень жалел, что не сидит со мной рядом кто-либо из писательской братии — из тех любителей порассуждать об устарелости Тендрякова, о разрыве контакта его с читателем, о том, что, дескать, современный читатель, «с его возросшим культурным багажом», требует нового, куда более тонкого решения литературным путем вопросов реальной жизни, нежели делает это Тендряков.

Нет, я, конечно, согласен: общий уровень техники литературного письма в последнее десятилетие сильно скакнул вверх. Писатели работают, как говорится, не за страх, а за совесть. Дерзают. Стараются. Но не знаю, как у других, а у меня от этих дерзаний нет-нет да и начинает вдруг двоиться в глазах. Жизнь на дворе такая, какая есть: живем — хлеб жуем и одеваемся в то, что продают в магазинах. А вот литература порой как бы иным продуктом питается, и одежды на ней роскошные, не чета ширпотребовским, со множеством всевозможных хитрых крючочков и кнопочек, карманчики тайные тут и там понатыканы, и всюду оборочки, складочки, и потоки, потоки причудливо расписанного шитья переплетаются, перекрещиваются многослойно и замысловато; пока «разденешь» повесть или роман до исподнего — до мысли то есть, до живой, так сказать, жизни, — запарисься весь.

Простоты хочется, ясности... Вот, мол, сограждане мои дорогие, перед вами наши боли, проблемы, конфликты. Давайте-ка разберемся, что к чему, и подумаем, как жить дальше.

Как жить дальше?

Это вопрос вопросов всех книг, что написал Тендряков, всех дней, часов и минут его жизни. Если считать, что такая, как сегодня говорят, законченность и есть наглядный признак «устарения» Тендрякова, то великая слава тому «допотопному» времени, что его породило!

* * *

Закончить обязан вот чем: я виноват перед Тендряковым. В самый разгар наших встреч я заболел и долго не мог работать. Владимир Федорович с пониманием отнесся к тому, что со мной происходит. Жалел меня, уговаривал не сдаваться.

— Все будет хорошо, родненький... А обо мне не думай. Ну, не напишешь. Мне ведь это не так уж и нужно.

А мне казалось, что он обижается. Я страшно переживал. Много раз садился за стол, но работа не шла. Я стал бояться ему звонить, боялся его звонков: что скажу?

Перерывы между телефонными звонками все увеличивались, и вот после очередного звонка возникла столь длинная пауза, когда я уже не отважился набрать номер...

И вот его нет. Однако поганое чувство стыда, вины перед ним не проходит. Возможно, и даже наверняка, он легче, чем я, отнесся к тому, что у нас так получилось. Но это, казалось бы, спасительное предположение не вносит спокойствия в мою жизнь.

Конечно, я мог бы об этом не писать. Но написал. Носить эту тяжесть в себе нет сил.